Сельма Лагерлёф

Морбакка

Selma Lagerlöf

Mårbacka

[memoria]

CoRpvs

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Несколько поколений семьи Лагерлёф владели Морбаккой, здесь девочка Сельма родилась, пережила тяжелую болезнь, заново научилась ходить. Здесь она слушала бесконечные рассказы бабушки, встречалась с разными, порой замечательными, людьми, наблюдала, как отец и мать строят жизнь свою, усадьбы и ее обитателей, здесь начался христианский путь Лагерлёф. Сельма стала писательницей и всегда была благодарна за это Морбакке. Самая прославленная книга Лагерлёф — “Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона с дикими гусями по Швеции” — во многом выросла из детских воспоминаний и переживаний Сельмы. В 1890 году, после смерти горячо любимого отца, усадьбу продали за долги. Для Сельмы это стало трагедией, и она восемнадцать лет отчаянно боролась за возможность вернуть себе дом. Как только литературные заработки и Нобелевская премия позволили, она выкупила Морбакку, обосновалась здесь и сразу же принялась за свои детские воспоминания. Первая часть воспоминаний вышла в 1922 году, но на русский язык они переводятся впервые.

- Сельма Лагерлёф
  - Поездка в Стрёмстад
    - Нянька
    - Важный гость
    - Поездка в Карлстад
    - В каюте “Уддехольма”
    - В ювелирном магазине
    - Остров Гро
    - Райская птица
    - Подарок на память
  - Истории старой экономки
    - Бабушка
    - Призрак у Камня Отдохновения
    - Пастор Веннервик
    - Гусак
    - Лемминги
    - Водяной
    - Полковой писарь
    - Ополченцы
  - Старые постройки и старые люди
    - Каменные дома
    - Денежный сундучок

        - Свайная клеть
        - Комнатушка в людской
        - Барышня
        - Брачный венец
        - Ваккерфельдт
        - Оркестр
    - Новая Морбакка
        - Семнадцать кошек
        - Новый скотный двор
        - Сад
        - Стропила
    - Будни и праздники
        - Послеобеденный сон
        - Мамзель Брустрём
        - Путешествие на шабаш
        - Песни Бельмана
        - Мальчики и девочки
        - Старый солдат
        - Земля надежды
        - Сезон корюшки
        - Семнадцатое августа
    - Послесловие
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21

- ○ 22
- ○ 23

Сельма Лагерлёф
Морбакка

Поездка в Стрёмстад

Нянька

Была когда-то в Морбакке нянька, которую все звали Большая Кайса. Ростом добрых три локтя,[1] лицо крупное, грубое, с суровыми, мрачными чертами, руки жесткие, в трещинах, за которые цеплялись детские волосы, когда она их расчесывала, и нравом угрюмая, хмурая.

Не сказать, чтобы такой человек аккурат годился в няньки, г-жа Лагерлёф действительно пребывала в изрядной нерешительности и наняла ее не сразу. Прежде Большая Кайса нигде не служила, взять хороший пример ей было не с кого, и вести себя как полагается она не умела, выросла-то на бедном арендаторском хуторе Баккарна, сиречь Горки, на лесистом холме по-над Морбаккой, в уединении, где поблизости никто не жил.

Однако выбирать, наверное, было не из кого, вот и взяли ее. Что она ни постель постелить не умела, ни изразцовую печь затопить, ни ванну приготовить, г-жу Лагерлёф не удивило, и научить Большую Кайсу означенным премудростям не составило труда. Опять-таки без возражений она каждый день подметала детскую, смахивала пыль и стирала детскую одежонку. Но чему г-жа Лагерлёф оказалась совершенно не в силах ее научить, так это обхождению с детьми. Большая Кайса и не думала с ними играть, ласкового слова никогда не говорила, ни одной сказки, ни одной песенки не знала. Конечно, дело тут не в умышленной грубости, просто по натуре своей она не любила галдежа, шумных забав и смеха. Предпочла бы, чтоб дети тихо-спокойно сидели каждый на своем стуле, не болтали и не шевелились.

Тем не менее г-жа Лагерлёф была вполне ею довольна. Что нянька не знает сказок — беда невелика, бабушка у детишек в Морбакке, слава Богу, еще жива-здорова. Она приходила каждое утро, как только успевала одеться. И все дети сразу собирались подле нее, а она пела песенки и рассказывала сказки до самого обеда. Поиграть тоже было с кем — улучив свободную минуту, поручик Лагерлёф непременно затевал забавы.

Большой Кайсе — сильной, выносливой, исполнительной — можно было довериться целиком и полностью. Уезжая в гости, господа твердо знали: она не уйдет по своим делам, не оставит ребятишек одних в детской. Всё бы замечательно, только вот мягкости ей недостает, резка больно. Детские руки сует в рукава неловко, рывком, начнет умывать, мыльная пена непременно попадет детям в глаза, станет причесывать — так и кажется, будто все волосы повыдергает.

Детская в Морбакке была светлая, теплая, просторная —

лучшая комната во всем доме, но с одним недостатком: располагалась она не очень удобно, в мансарде, и чтобы туда попасть, нужно было пройти весь нижний коридор, подняться по лестнице, а затем пройти через весь чердак. Крутую лестницу маленькие ножки одолевали с трудом, поэтому дети радовались, когда прежняя нянька брала кого-нибудь из них на руки и несла вверх по ступенькам, но Большая Кайса в подобных вещах явно не разбиралась. Вдобавок шагать через весь чердак было ужас как страшно, особенно вечером, в потемках, так что детским рукам прямо-таки обязательно требовалось уцепиться за большую руку, для надежности. Однако Большая Кайса, привыкшая к огромному темному лесу, определенно считала чердак местом мирным и безопасным. Она просто шла впереди и руки никому не давала. Будь доволен, если сумеешь ухватить ее за подол.

Кровати, на которых спали трое детишек, смастерил замечательный старый столяр из Аскерсбю — очень красивые, с перильцами на точеных жердочках вокруг изголовья. Правда, раздвижные, ведь детская хотя и просторная, но три кровати все же занимали многовато места, поэтому удобства ради на день их складывали. Само по себе это вовсе не плохо, но, как ни старался замечательный старый столяр из Аскерсбю, вышло у него не очень удачно: среди ночи кровати частенько ни с того ни с сего разъезжались.

Тот, с кем приключалась эта беда, конечно же разом пробуждался от сладких снов и, обнаружив, что кровать развалилась надвое, пробовал свернуться калачиком на верхней половине, в надежде, что сумеет вновь заснуть. Задачка, право слово, не из легких — немного погодя бедолага вытягивал ноги, которые оказывались на весу, и опять ждал, когда придет сон, но в итоге совсем просыпался и тогда наконец волей-неволей вставал, чтобы привести кровать в порядок. Когда же попытки как будто бы завершались благополучно и кровать с постелью стояла как надо, владелец со всею осторожностью укладывался и с огромным удовлетворением вытягивал ноги. Все шло хорошо, потихоньку подкрадывался сон, и тут он имел неосторожность повернуться. Крак! Кровать сызнова разъезжалась, и прощайте надежды, поспать этой ночью не удастся.

Подобные ночные перипетии не мешали Большой Кайсе крепко спать, а малышам в голову не приходило разбудить ее и попросить о помощи. Прежняя-то нянька мигом просыпалась от шума развалившейся кровати и в два счета все исправляла, без всяких просьб.

Над детской располагалась маленькая, тесная чердачная каморка, полная старых сломанных ткацких станков и прялок, а

среди этого хлама жила сова-неясыть. Диву даешься, какой шум могла поднять одна-единственная птица. Ночами детям казалось, будто над головой перетаскивают громадные, тяжелые бревна. Они пугались шума, но прежняя нянька смеялась и говорила, что бояться нечего, это всего-навсего неясыть. А вот Большая Кайса хоть и выросла в лесу, боялась всех живых тварей. Для нее они были словно злые духи, и, когда неясыть будила ее ночью, она доставала Псалтирь и начинала читать. Успокоить детишек она, разумеется, не могла, наоборот, путала, так что бедная неясыть вырастала до размеров исполинского чудовища с головой тигра и крыльями орла. Описать невозможно, какая дрожь пробирала их до глубины души при мысли, что прямо над головой живет этакое страшилище. Вдруг оно проделает когтищами в потолке дыру и заявится к ним!

Никак нельзя сказать, будто Большая Кайса пренебрегала детьми или колотила их. Это ж ни на что не похоже, верно? Прежняя нянька не ахти как следила, чтобы дети не поранились и не перепачкались, зато обходилась с ними очень ласково.

Величайшим своим сокровищем дети в ту пору считали три маленьких деревянных стульчика. Подарок того самого замечательного старого столяра из Аскерсбю. Они не знали, было ли это возмещением за неудачу с кроватями, но думали, что такое вполне возможно. Стулья у него получились на славу, крепкие, легкие. Можно было использовать их как столы и санки, скакать на них по комнате, залезать на сиденья и спрыгивать на пол, класть на бок и устраивать из них хлев и конюшню — словом, они годились для чего угодно.

Но только если перевернуть стульчики, становилось понятно, почему дети так невероятно ими дорожат. На оборотной стороне каждого сиденья красовался портрет ребенка. Один изображал Юхана, мальчугана в синем костюмчике, с громадным кнутом в руке, другой — Анну, очаровательную девчушку в красном платьице и желтой соломенной шляпке с широкими полями, нюхающую букет цветов, а третий — Сельму, совсем маленькую девочку в синем платьице и полосатом фартучке, ни в руке, ни на головке у нее ничего не было.

Рисунки показывали, кому принадлежат стулья, и по этой причине дети считали их своей собственностью, но собственностью совершенно иного рода, чем одежда и прочие вещи, полученные от родителей. Одежда переходила от одного к другому, подтверждения тому они видели постоянно; красивые игрушки взрослые запирали в шкафу или ставили в гостиной на угловую этажерку, а вот стулья, помеченные их портретами, никто и не подумает у них отнять.

Вот почему Большая Кайса поступала прескверно, когда иной раз клала все три стула на высокий березовый комод, куда дети дотянуться не могли. Пусть даже она только что вымыла полы, а на влажных половицах оставались некрасивые следы, когда дети тащили стулья по полу, однако прежней няньке никогда не хватало духу отобрать у малышей стулья, хотя бы и ненадолго.

Г-жа Лагерлёф, конечно, видела, что нянька не умеет обращаться с ее детишками. Они побаивались Большую Кайсу, не любили оставаться с нею. Но няньку наняли на год, и, пока срок не истек, уволить ее нельзя. Г-жа Лагерлёф надеялась, что летом станет получше, ведь тогда дети целыми днями играли на воздухе и в основном обходились без няньки.

Как-то утром в самом начале лета случилось так, что младшую девчушку оставили в детской одну. Толком не проснувшись, она сидела в своей раздвижной кроватке, недоумевала, куда могли подеваться все люди, а одновременно ей было до странности не по себе и хотелось спать.

Когда она понемножку пришла в себя, то вспомнила, что раньше этим утром она и другие дети вместе с поручиком Лагерлёфом ходили в Ос-Брунн купаться. По возвращении Большая Кайса уложила всех троих в кровати, прямо в одежде, чтобы они перед обедом чуток поспали.

Однако сейчас кровати Анны и Юхана пустовали, и Сельма поняла, что они встали и ушли.

Наверно, уже играют в саду. Ее немного раздосадовало, что они ушли и оставили ее в детской одну. Но с этим ничего не поделаешь. Необходимо выбраться из кровати и идти за ними.

Сельме было три с половиной года, она вполне могла и дверь открыть, и спуститься по крутой лестнице. Только вот идти через весь чердак в полном одиночестве — предприятие весьма рискованное; она прислушалась: может, кто-нибудь все-таки придет за нею?

Нет, шагов на лестнице не слышно, надобно действовать самостоятельно. Но при всем старании выбраться из кровати не удавалось.

Она пробовала снова и снова — и каждый раз падала на подушку. Ноги совсем как чужие. Не подчинялись.

Малышку обуял ужас. Чувство бессилия, охватившее ее оттого, что тело не желало повиноваться, было настолько жутким, что она запомнила его очень надолго, на всю жизнь.

Разумеется, она расплакалась. От отчаяния и заброшенности, а рядом ни одного взрослого, что помог бы ей и утешил.

Впрочем, в одиночестве она оставалась недолго. Дверь отворилась, на пороге стояла Большая Кайса.

— Разве ты не спустишься вниз обедать, Сельма? — спросила она. — Старшие-то уже…

Большая Кайса осеклась. Малышка думать забыла о том, что в дверях стоит суровая нянька. В своем огромном отчаянии она видела только, что пришел взрослый человек, который может ей пособить, и протянула к няньке руки.

— Иди сюда, Большая Кайса, забери меня! — воскликнула она. — Забери!

Когда Большая Кайса подошла к кровати, девчушка обхватила ее за шею и крепко-крепко прижалась, чего до сих пор ни один ребенок не делал. Большая Кайса легонько вздрогнула. И не вполне твердым голосом спросила:

— Что стряслось, Сельма? Ты захворала?

— Я не могу идти, Большая Кайса, — ответила девочка.

Тут сильные руки с легкостью подхватили ее, будто котенка, а суровая и серьезная Большая Кайса сию же минуту уразумела, как должно говорить с ребенком.

— Плакать тебе больше не о чем, Сельма, — сказала она. — Я снесу тебя вниз.

И все малышкины горести вмиг как рукой сняло. Страхи и злоключения были забыты. Ничего, что она сама идти не может, ведь Большая Кайса отнесет ее на руках! Никаких объяснений не потребовалось. Она и без того поняла, что, если имеешь такого сильного и замечательного друга, как Большая Кайса, все беды нипочем.

Важный гость

Юхан и Анна оказались предоставлены сами себе из-за огромного переполоха, вызванного болезнью Сельмы.

Оно и понятно. Юхану уже сравнялось семь, и г-н Тюберг учил его читать. Юхан ведь мальчик, и его считали чуть ли не самым старшим; хотя у него имелся старший брат, но тот дома появлялся редко, жил у маминых родителей в Филипстаде. А теперь вот про Юхана все забыли, занимались только младшей из девочек.

Что до Анны, то ей было пять лет, она уже и шить умела, и вязать крючком, и с виду прехорошенькая — старшая дочка, мамина любимица. Но что за радость от всего этого, коли Сельма надумала хворать?

Взрослые ужасно переполошились, увидев ребенка, который не может ходить.

— Как же она, бедняжка, жить-то будет? — говорили они. — Ничего на свете не увидит, будет сиднем сидеть на одном месте. Замуж не выйдет, позаботиться о себе не сможет. Право слово, тяжко ей придется.

Все относились к больной девчушке ласково и сочувственно, и против этого Юхан с Анной нисколько не возражали. Но нельзя же напрочь забывать, что есть и другие дети.

Хуже всех обстояло с Большой Кайсой. Она таскала Сельму на закорках, без умолку с нею сюсюкала, твердила, что она сущий ангелок Господень. Однако ж и папенька, и маменька, и бабушка, и тетушка вели себя не намного лучше. Разве не велели они замечательному аскерсбюскому столяру смастерить для Сельмы тележку, в которой Большая Кайса повсюду ее возила? И разве Юхану с Анной хоть когда-нибудь дозволялось позаимствовать эту тележку, чтобы возить песок? Нет, тележка для Сельмы, незачем ее пачкать.

Юхан и Анна знали, что раньше, когда Сельма могла ходить, ничего особенного в ней вообще не находили, но теперь, когда в доме бывали гости, ее непременно приносили, чтобы они посмотрели на нее да повернули так и этак. А если какая-нибудь крестьянка заходила на кухню, Большая Кайса мигом была тут как тут, показывала ей Сельму. Самое же огорчительное, что Большая Кайса непременно рассказывала, какая она милая и необыкновенная. Мол, никогда не плачет, никогда не унывает, хоть и не может ходить. Почему бы ей не быть милой? — думали Юхан с Анной. При такой-то жизни! Целый день ее на руках носят, целый день развлекают да балуют.

Н-да, Юхан и Анна единодушно решили, что Большая Кайса совершенно несносна. Она не могла стерпеть, что г-жа Лагерлёф сшила Анне платье наряднее, чем Сельме, а если кто-нибудь называл Юхана послушным и учтивым, не упускала случая заметить, что тому, кто может ходить и двигаться как угодно, было бы стыдно проявлять неучтивость.

Снова и снова из-за Сельмы посылали в Сунне за старым доктором Хедбергом, и Юхан с Анной полагали это вполне оправданным. Не возмущались они и когда совета спрашивали у Хёгмановой Инги, которая частенько заходила в усадьбу заговаривать свиней да коров. Но, по их мнению, бабушка, экономка и Большая Кайса зашли слишком уж далеко, когда однажды в отсутствие поручика Лагерлёфа порешили призвать в Морбакку опасную старуху-ворожею с хутора Хёгбергссетер, ту самую, что по Великим четвергам верхом на помеле летала на шабаш к чертям. Юхан с Анной слыхали, что она способна подпалить дом одним только взглядом. И пока она находилась в Морбакке, оба места себе не находили. По их разумению, Большая Кайса поступила неправильно, нельзя приводить сюда этаких страшных людей.

Конечно, они желали Сельме здоровья. Как никто другой хотели, чтобы сестренка поправилась. Но им даже в голову не приходило, будто совершенно замечательно, что она сумела подхватить хворь, которую никто излечить не может. А вот Большая Кайса именно так и думала. Когда ни доктор Хедберг, который много раз избавлял их от кашля и боли в груди, ни Хёгманова Инга, которая всегда справлялась со свиньями и коровами, ни опасная ведьма с хутора Хёгбергссетер, которая умела заставить помело летать, не смогли помочь Сельме, Большая Кайса решила, что девчушка совсем уж особенная, ни на кого не похожая. В конце концов, после того как поручик Лагерлёф съездил с дочкой в Карлстад и показал ее полковому лекарю Хааку, лучшему доктору во всем городе, и тот опять же ничего сделать не смог, Большая Кайса совсем зазналась, того гляди, лопнет от важности. Но разве не лучше, если б Сельминой болезни все ж таки пришел конец? По крайней мере, им так казалось.

Юхан и Анна говорили, что самое неприятное во всем этом было то, что Большая Кайса вечно сюсюкала с Сельмой и вконец ее разбаловала. Как ни мала, девчушка смекнула, что ей незачем быть такой же послушной, как другие дети, которые могут стоять на ногах. Прежде всего, незачем есть то, что не нравится. Когда г-жа Лагерлёф ставила перед ней вареную морковь, шпинат, крутые яйца или пивной суп, ей вправду не обязательно было съедать

все, как раньше. Едва она отодвигала тарелку, Большая Кайса немедля шла к экономке на кухню и приносила что-нибудь повкуснее.

Мало того, Юхан и Анна заметили, что, когда ни доктор Хедберг, ни Хёгманова Инга, ни опасная ведьма с хутора Хёгбергссетер не сумели ее вылечить, она возомнила себя настолько особенной, что вообще перестала есть обыкновенную будничную пищу, подавай ей жареного цыпленка, молодой картофель да землянику со сливками. А после поездки в Карлстад, когда и доктор Хаак ничего сделать не смог, она требовала только пирожки и варенье.

Юхан с Анной слышали, что карлстадская тетушка Нана Хаммаргрен пришла из-за Сельмы в полное отчаяние. Пророчила, что девочка умрет с голоду. И Юхан с Анной единодушно решили, что если в скором времени не случится какой-нибудь перемены, то ничего хорошего ждать не приходится.

Однако ж перемена в самом деле случилась.

Как-то утром Большая Кайса посадила малышку на закорки и отнесла в комнату при кухне. Там стояла большая белая раздвижная кровать, где обычно спала старая г-жа Лагерлёф, вот к этой кровати Большая Кайса и подошла.

— Тут ты кой-чего увидишь, Сельма, — сказала она, усаживая девчушку в подушки.

Кровать была застлана простыней, хотя ночью в ней никто не спал, да и сейчас тоже никого не было. Старая г-жа Лагерлёф, которая обыкновенно чуть не до обеда ходила неприбранная, сидела полностью одетая на диване, и мамзель Ловиса Лагерлёф, тоже обитавшая в этой комнате, сидела рядом с нею, опять же чин чином одетая. Обе выглядели радостными и довольными, а когда девчушку усадили в постель, встали и подошли к ней.

— Знаешь, нынче ночью к нам прибыл важный гость, — с лукавой улыбкой сказала бабушка. И Сельма тоже засмеялась, ведь что может быть лучше гостей в усадьбе.

Затем она огляделась по сторонам, размышляя, где же этот важный гость. Здесь, в комнате при кухне, его, во всяком случае, не видно. Ни в желтом угловом шкафу, ни за высокими напольными часами, ни под тетушкиной шифоньеркой. В этой комнате есть вообще только одно место, чтобы спрятаться, — крытая лестница в подвал, но ведь важный гость туда не полезет.

Странно все это, право слово. Почему ее усадили в бабушкину кровать и почему остальные стоят и смотрят на кровать, будто важный гость именно тут и находится? Она сидела в полном недоумении, переводя взгляд с одной женщины на другую. Тогда мамзель Ловиса наклонилась и немножко

подвинула подушки — и девчушка увидела, что рядом с нею в постели лежит продолговатый сверточек, но присматриваться к нему не стала. Бабушка ведь сказала, что гость важный, а значит, наверняка имела в виду приезжего издалёка, у которого с собой большущие кульки с карамельками и игрушки для детей. Вот такого гостя Сельма и высматривала.

— Он там? — спросила она, показывая на дверь залы. Навострила уши: не слышно ли голосов в соседней комнате. Ее снедало любопытство, поскольку все были такие радостные и взволнованные.

— Да вот же она, рядом с тобой, — сказала бабушка, повернув продолговатый сверток. И девчушка увидела, что у свертка две крохотные ручки и сморщенное личико.

Сельма бросила на младенчика презрительный взгляд, ей уже доводилось видеть таких малявок, и они ее не интересовали. Она отвела глаза, мыслями целиком с гостем, у которого кульки карамелек.

— Смотри, нынче ночью к тебе пришла маленькая сестренка, — сказала тетушка Ловиса. — Будь к ней добра.

К такому повороту девчушка была совершенно не готова. Конечно, она бы не возражала против еще одной сестренки, если бы та умела разговаривать и ходить. Но грудной младенец ее вовсе не занимал.

Однако… мало-помалу она сообразила, что никакой важный гость в усадьбу не приезжал. Бабушка имела в виду эту бедную кроху. А у той, понятно, карамелек и в помине нету.

Когда она все это осознала, ее захлестнуло огромное разочарование. Она горько заплакала, и Большая Кайса снова посадила ее на закорки и вынесла на кухню, не то ведь важного гостя разбудит.

По правде сказать, плакала она не без повода, потому что теперь ее счастливому владычеству настал конец. Большой Кайсе пришлось помогать г-же Лагерлёф ухаживать за новорождённой, ведь та еще беспомощнее и неразумнее, чем Сельма. С малюткой не договоришься, так что ждать да терпеть выпадало ей, старшей.

С тех пор и гостям Сельму показывали все реже. Теперь любовались и восхищались младенцем. Всю Сельмину исключительность как ветром сдуло, она значила ничуть не больше, чем Анна или Юхан. И в следующем году выдалось много печальных минут. Жизни на пирожках да варенье пришел конец, более того, когда г-жа Лагерлёф ставила перед нею вареную морковь, шпинат или гороховые лопатки, никто и не думал забирать у нее тарелку и подавать что-нибудь другое — хочешь не хочешь, ешь что дают.

И если платье у Анны было наряднее, чем у нее, никто слова не говорил. Наоборот, все считали, что так и надо, ведь Анна как-никак старшая дочка.

Да, порой в душе царил полный мрак, ведь она начала подумывать, что Большая Кайса любит младенчика не меньше, чем ее.

Поездка в Карлстад

Большая Кайса и ее подопечная отправились в путешествие. Сидели на козлах большой брички, подле конюха Магнуса, ему доверили править тройкой лошадей на ужасной дороге в Карлстад, и от сознания ответственности он слова вымолвить не мог.

В бричке, лицом к козлам, поместились г-жа Луиза Лагерлёф и мамзель Ловиса Лагерлёф, а напротив них — Юхан и Анна. Конечно, куда веселее, сидя на козлах, смотреть на лошадей, нежели всю дорогу обретаться в бричке, под навесом, и Юхан охотно бы устроился рядом с кучером, но г-жа Лагерлёф сказала, что Большую Кайсу на его место не втиснешь, да и Сельма, разумеется, будет там же, где Большая Кайса. Поручик Лагерлёф тоже участвовал в путешествии, только он выехал вперед на своей маленькой двуколке.

Уже год минул с тех пор, как у девчушки приключилась неприятность с ножкой, и стоять она по-прежнему не могла. Вот и решили предпринять серьезную попытку справиться с недугом, потому и собрались на западное побережье. Среди путешествующих хворала только она, однако ж летние купания, верно, пойдут на пользу каждому.

Так или иначе, сидя на козлах, девчушка совершенно забыла про свое недомогание. Думала лишь о том, что она и Большая Кайса вместе уезжают, а маленькая сестренка остается дома. Ее переполняла надежда, что вернутся утраченные счастливые деньки, забыть которые она не могла.

Крепко прижавшись к Большой Кайсе, она обнимала няньку за шею и поминутно спрашивала, рада ли та, что теперь никто не помешает им быть вместе.

Большая Кайса не отвечала, но Сельма нисколько не огорчалась. Большая Кайса никогда не отличалась разговорчивостью.

Карлстадский тракт в те времена, как и сейчас, изобиловал подъемами и спусками. То змеился по холму Бевиксбаккен, то целых полмили[2] шел по Гуннарсбаккен, то круто взбегал к Сундгордсбергу, а самое опасное место называлось Клева, там дорога проходила по кромке обрыва. Да какого! — ни дать ни взять едешь меж небом и землей! Поручик Лагерлёф приказал заложить тройку лошадей, тогда, мол, ехать легче, но что кучер, что лошади к такому не привыкли.

Малышка Сельма радовалась, что Большая Кайса снова в полном ее распоряжении, и радость эта, пожалуй, еще

увеличивалась оттого, что сидела она рядом с нянькой на кучерских козлах и смотрела на тройку норовистых лошадей, которые играючи тянули за собой тяжелую бричку, а когда на полном скаку сворачивали, экипаж накренялся и катил на двух колесах. Сплошное разнообразие, не заскучаешь; то лошади, выпрямив передние ноги и осев на круп, скользили под горку, то, когда спуск был чересчур уж крутой, конюх Магнус привставал на козлах и отчаянно охаживал их кнутом, чтоб бежали во весь опор, иначе высокая бричка кувырнется на запряжку.

Посреди такого вот замечательного спуска девчушка опять обернулась к няньке:

— Ты не рада быть только со мной, Большая Кайса? Не рада, что младшая сестренка осталась дома, а?

Ответа и на сей раз не последовало; когда же Сельма с недоумением глянула няньке в лицо, то обнаружила, что Большая Кайса сидит крепко вцепившись в козлы, вытаращив глаза, стиснув губы, а щеки у нее покрыты землистой бледностью.

— Ты не рада, Большая Кайса? — повторила девчушка, хотя уже видела, что нянька совсем не рада, и едва не заплакала от этой своей ошибки.

Но тут Большая Кайса наконец отозвалась:

— Ну-ка, угомонись, Сельма! Не след болтать посередь этакой кручи. Ох, никогда мне так худо не бывало, кабы не ты, я бы давно слезла и ушла домой.

Малышка притихла, обдумывая ее слова. Она была не вполне довольна. Рядом с Большой Кайсой она никогда не боялась. И думала, что и Большая Кайса рядом с нею тоже ничего не боится. Хорошо хоть не слезла и не ушла домой, но все-таки лучше бы и ей радоваться, а не изнывать от страха.

В каюте “Уддехольма”

Обитатели Морбакки продолжали свое путешествие. Только уже не в большой бричке, а на борту красивого парохода под названием “Уддехольм”.

Целый день они провели в Карлстаде: навещали родню и делали покупки, а под вечер выехали из города и довольно долго стояли в ожидании на причале, который выдвигался далеко в огромное озеро Венерн. Большая Кайса сразу же оробела, потому что другого берега озера видно не было и ей казалось, будто здесь кончается весь мир.

Удивительное зрелище и для нее, и для всех остальных — красивый белый пароход словно бы вынырнул из безбрежности и подошел к причалу, чтобы взять их на борт.

Когда поручик с женой, и мамзель Ловиса, и Юхан, и Анна без колебаний поднялись по сходням, Большая Кайса пошла следом. Ведь она считала поручика Лагерлёфа человеком совестливым, разумным, он не станет опрометчиво подвергать своих детишек смертельной опасности, но что будет, когда они доберутся до того места, где мир кончается, она, во всяком случае, постичь не могла.

Нянька охотно осталась бы на палубе, поглядела, канет ли вода прямиком в бездну или хлынет куда-то еще, но едва только стемнело, всех морбаккских женщин и детей попросили покинуть палубу. Их проводили в так называемую каюту, которая оказалась самой маленькой комнатой, какую им довелось видеть, и там они устроились на ночлег.

На узком диванчике, тянувшемся вдоль одной длинной стены, расположилась г-жа Лагерлёф, прямо в одежде, на таком же диванчике напротив — мамзель Ловиса. Над г-жой Лагерлёф, как бы на полке, поместился Юхан, на другой полке, над мамзель Ловисой, — Анна. На полу между диванчиками улеглись на одеяле Большая Кайса с хворой девчушкой, так что свободного места вовсе не осталось — ни сесть, ни лечь, ни пройти.

Свет погасили, пожелали друг другу доброй ночи — надобно спать. Некоторое время царили полная тишина и покой.

Но мало-помалу пол, где лежали Большая Кайса с девчушкой, начал странным образом качаться вверх-вниз, и малышка, словно мячик, перекатывалась то к диванчику г-жи Лагерлёф, то назад к Большой Кайсе. Это было забавно, и малышка совсем не боялась. Только никак не могла взять в толк, отчего пол не успокоится.

Немного погодя она услышала, как маменька и тетушка Ловиса перешептываются.

— Я съела слишком много жирной лососины у Шёстедтов, — сказала г-жа Лагерлёф.

— По-моему, они не очень продумали меню. А ведь знали, что нам предстоит плавание по Венерну, — заметила мамзель Ловиса.

— Н-да, от Венерна добра не жди, — вздохнула г-жа Лагерлёф.

Большая Кайса тоже принялась шептать:

— Скажите, хозяйка, мы что же, добрались до места, где озеру конец и вода обрушивается в пропасть?

— Нет, голубушка, озеро не кончится до утра, — ответила г-жа Лагерлёф, не понимая, куда клонит нянька.

Опять стало тихо, но спокойствия не прибавилось. Пол качался вверх-вниз, и девчушка по-прежнему забавно перекатывалась туда-сюда.

Г-жа Лагерлёф чиркнула серной спичкой, зажгла свечу.

— Надобно посмотреть, удержатся ли дети на полках, не упадут ли, — сказала она.

— Слава Богу, ты зажгла свет, — сказала тетушка Ловиса. — Все равно ведь уснуть невозможно.

— Хозяйка! Мамзель Ловиса! Неужто вы не чуете, что нас вниз тягает? — запричитала Большая Кайса. — Ох, да как же мы выберемся из энтой глыби? Как домой-то попадем?

— О чем это она? — спросила у невестки мамзель Ловиса.

— Говорит, что мы подошли к крайнему пределу, — ответила г-жа Лагерлёф, которая понимала не больше, чем золовка.

Они опять замолчали, каждая думала о своем. Малышке показалось, что им страшно, сама-то она чувствовала себя превосходно. Лежала словно в большущих качелях.

Но тут кто-то тронул ручку двери. Красную портьеру отодвинули в сторону, на пороге стоял поручик Лагерлёф, с улыбкой оглядывая каюту.

— Как там, Густав? Шторм начинается? — быстро спросила г-жа Лагерлёф.

— Не спите, стало быть, — сказал поручик Лагерлёф. — Да, ветер маленько разошелся, — добавил он успокаивающим тоном. — Капитан посоветовал мне спуститься к вам и сказать, что хуже, чем сейчас, не будет.

— А ты чем занят? — спросила тетушка Ловиса. — Ложиться не будешь?

— Где же мне, по-твоему, лечь, Ловиса, голубушка? — осведомился поручик Лагерлёф.

Когда он обвел взглядом переполненную каюту, словно высматривая, где бы ему пристроиться, в облике его сквозило что-

то добродушное и ужасно смешное — все поневоле рассмеялись. Г-жа Лагерлёф и мамзель Ловиса, только что лежавшие в испуге и легкой морской болезни, даже сели на диванчиках, чтобы посмеяться как следует, Юхан с Анной на своих полках так хохотали, что едва не скатились вниз, Большая Кайса позабыла, что вот-вот окажется на том жутком месте, где озеру конец, и тоже смеялась, а малышка обок нее просто покатывалась со смеху.

Поручик Лагерлёф смеялся редко, но выглядел очень веселым, стоя у двери. Дальше-то пройти не мог.

— Ну, как я погляжу, с вами все в порядке, — сказал он, когда все немного успокоились. — Коли так, поднимусь-ка я, пожалуй, на палубу, потолкую с капитаном.

Пожелав им доброй ночи, он ушел.

В каюте снова воцарились боязнь и морская болезнь, г-жа Лагерлёф снова тщетно пыталась успокоить Большую Кайсу, которая по-прежнему ждала, что они, того гляди, рухнут в бездну. Малышка же не иначе как уснула, потому что никаких других ночных событий не запомнила.

В ювелирном магазине

Теперь, пожалуй, худшие тяготы путешествия остались позади. Незачем было бояться, что бричка опрокинется на Карлстадском тракте или что на Венерне их сразит морская болезнь, ведь они уже благополучно добрались до Гётеборга. И, отбросив все заботы, погожим летним днем отправились смотреть город.

Когда они вышли на Эстра-Хамнгатан, поручик Лагерлёф шагал впереди — с тросточкой в руке, сдвинув шляпу на затылок, на носу очки. За ним шла г-жа Лагерлёф, держа за руку Юхана, следом мамзель Ловиса вела за руку Анну, а замыкала шествие Большая Кайса, которая несла Сельму. Несла на руках, поскольку считала, что в городе носить ее на закорках не годится.

Поручик Лагерлёф был в коричневом сюртуке и светлой соломенной шляпе. Г-жа Лагерлёф и мамзель Ловиса надели белые панамы с широкими колышущимися полями и настоящие кашемировые шали, сложенные треугольником и почти закрывавшие просторные юбки черного шелка да красивые бархатные корсажи с белыми вставками и пышными белыми манжетами. Юхан — в черной бархатной курточке и брючках, Анна — в накрахмаленном ситцевом платье в мелкий синий горошек, с кринолином, в шляпке и с зонтиком, а Сельма — тоже в крахмальном ситцевом платьице синими горошками, но не в шляпке, а в белом, домашнего пошива капоре, без зонтика и кринолина.

Внезапно поручик обернулся, посмотрел на вереницу женщин и детей. Кивнул и рассмеялся, явно радуясь, что они здесь, при нем.

— Раньше ни вы, ни я здесь не бывали, — сказал он, — так что давайте осмотримся хорошенько.

И они пошли дальше по улице, разглядывали дома, и каналы, и мостики, и экипажи, и гуляющий народ, и вывески, и уличные фонари, а больше всего, конечно, витрины лавок и магазинов.

Поручик Лагерлёф их не торопил, наоборот. Ему хотелось, чтобы они побольше увидели и получили как можно больше удовольствия.

— Здесь нас никто не знает, — сказал он. — Смотрите сколько заблагорассудится.

Мамзель Ловиса подошла к витрине модистки и, увидев там шляпу, отделанную белым лебяжьим пухом и бутонами светло-красных роз, остановилась, не выпуская Аниной руки. Пришлось остановиться перед шляпой лебяжьего пуха и поручику

Лагерлёфу, и г-же Лагерлёф, и Юхану, и Большой Кайсе с Сельмой на руках. Мамзель Ловиса о других не думала, стояла как завороженная, а поручик с удовольствием смотрел на охваченную восторгом сестру. Но в конце концов все-таки потерял терпение.

— Надеюсь, ты не намерена копировать эту шляпу, Ловиса? — сказал он. — Она, видишь ли, аккурат под стать семнадцатилетней барышне.

— Но ведь и старому человеку приятно полюбоваться этакой красотой, — отвечала тетушка Ловиса, которая была уже не первой молодости, хотя по-прежнему хороша собой и нарядна.

Оставив позади шляпу лебяжьего пуха, они подошли к ювелирному магазину, и тут остановился сам поручик Лагерлёф. Некоторое время он разглядывал перстни, браслеты, серебряные ложки, кубки и все прочее, выставленное на обозрение, потом тихонько чертыхнулся от удовольствия.

— Зайдемте-ка сюда, — сказал он.

— Но, Густав, — сказала г-жа Лагерлёф, — мы же не станем сейчас покупать такие вещи.

Она положила руку ему на плечо, хотела задержать, однако он уже отворил большую стеклянную дверь и шагнул внутрь. Хочешь не хочешь, все последовали за ним: г-жа Лагерлёф с Юханом, мамзель Ловиса с Анной и Большая Кайса с Сельмой на руках.

Когда они вошли, поручик Лагерлёф уже стоял у прилавка и беседовал с молодым приказчиком.

— Нет-нет, покупать я ничего не буду, — сказал он, — просто в витрине выставлено такое множество красивых вещиц, что мне захотелось зайти внутрь и полюбоваться всем, что есть в магазине.

Молодой приказчик, с которым он разговаривал, выглядел слегка огорченным и не знал, что ответить. А г-жа Лагерлёф и мамзель Ловиса, каждая взявши поручика за плечо, пытались снова вывести его на улицу.

В эту минуту из дальней комнаты вышел сам ювелир. Наверно, услыхал, что в магазин зашли сразу несколько человек, и решил, что намечается крупная сделка. Он стал подле молодого приказчика, оперся ладонями на прилавок и приглашающим тоном произнес:

— Чего желаете, господа?

Поручик Лагерлёф еще раз объяснил, чего он хочет. Дескать, подумал, нельзя ли полюбоваться красивыми вещицами в магазине, просто полюбоваться, купить их он не может.

Ювелир слегка повернул голову, искоса взглянул на

поручика.

— Вы, сударь, наверное, вермландец? — спросил он.

— Конечно, вермландец, разрази меня гром, — отвечал поручик Лагерлёф, — а то кто же!

Тут все рассмеялись, все-все, кто находился в большом магазине. Все приказчики и конторщики, смеясь, обступили поручика Лагерлёфа, а из дальних комнат вышла нарядная дама, жена ювелира, которой тоже захотелось узнать, по какому поводу в магазине такое веселье.

Однако г-жа Лагерлёф и мамзель Ловиса Лагерлёф до того сконфузились, что предпочли бы дрожать от страха в бричке или плыть на пароходе по штормовому Венерну, лишь бы не стоять здесь, в роскошном магазине. И обе снова попытались вывести поручика на улицу.

— Идем, Густав! — твердили они. — Ради Бога, нам пора уходить!

— Нет-нет! — самым любезным тоном сказал ювелир. — Останьтесь, ради Бога! Мы с радостью покажем, что у нас есть!

Он отдал распоряжения приказчикам, и те принялись открывать шкафы, взбираться по лестницам и доставать с полок все, что там было, и вскоре прилавок сплошь был заполнен золотыми и серебряными вещицами. А ювелир и его жена брали каждую в руки, показывали посетителям и сообщали, для чего она потребна и как сделана.

Поручик Лагерлёф снял очки и, чтобы лучше видеть, протер их шелковым платком. Он хвалил и восхищался, брал в руки тяжелые серебряные кофейники, изучал узоры.

— Смотри-ка, Ловиса! — говорил он. — У самого суннеского пробста ничего подобного не найти.

В другой раз он поднес серебряный поднос к глазам Большой Кайсы:

— У осбергского великана посуда наверняка не лучше, Кайса.

Приказчики фыркали и хихикали, посмеиваясь над ними. Ювелир с женой тоже держались бодро-весело, но на иной манер. Они были приветливы, и поручик Лагерлёф явно вызывал у них симпатию. Немного погодя они уже знали, кто он и все остальные и что направляется он в Стрёмстад с надеждой вылечить ребенка, у которого что-то приключилось с бедром и который не может ходить.

Когда увидели, что все идет хорошо, г-жа Лагерлёф и мамзель Ловиса успокоились и тоже принялись восхищаться. Г-жа Лагерлёф очень обрадовалась, узнав старинный узор, украшавший серебряные ложки у нее в доме, а мамзель Ловиса пришла от сахарницы в неменьший восторг, чем от шляпы с

лебяжьим пухом.

Когда они наконец вдоволь насмотрелись и стали прощаться, всем казалось, будто расстаются они со старыми друзьями. Ювелир с женой и все приказчики вышли с ними на улицу, так что прохожие могли подумать, будто они сделали покупки на много тысяч крон.

— Н-да, пожалуй, мне следует извиниться, — сказал поручик Лагерлёф, протягивая на прощание руку.

— Даже и не думайте, поручик! — воскликнул ювелир.

— Мы доставили вам столько хлопот, — виновато сказала г-жа Лагерлёф.

— Что вы, мы так приятно провели время! — сказал ювелир. — Не беспокойтесь! Позволительно ведь что-то сделать ради собственного удовольствия, даже в магазине!

Когда поручик Лагерлёф продолжил путь по Эстра-Хамнгатан, шляпа сдвинулась на затылок еще дальше обычного. Он шагал, помахивая тросточкой, и вправду гордился своим приключением.

А г-жа Лагерлёф очень-очень тихо сказала мамзель Ловисе:

— Слов нет, как я напугалась. Думала, нас вышвырнут за дверь.

— Да, так бы и случилось, будь на месте Густава кто-нибудь другой, — отозвалась мамзель Ловиса. — Но у Густава особый талант — никто против него не устоит.

Запастись провизией не составляло труда — достаточно выйти на рыночную площадь. Незачем тревожиться, что пастбище у коров плохое или что овсы никак не идут в рост. Они жили среди голых скал и воды и позабыли, что на свете существуют поля и луга. И гостей издалёка принимать не надо, и стоять у плиты, стряпать праздничные разносолы на жаркой кухне или ломать себе голову над тем, как разместить всех на ночлег и хватит ли постельного белья. Если со скотиной что и было не так, а экономка рассорилась со служанками, они ничего об этом не ведали. Отдыхали и могли пестовать свое здоровье да развлекаться без всяких там забот и хлопот.

Никогда не доводилось им так хорошо проводить дни. Г-жа Лагерлёф, приехавшая в Стрёмстад слегка осунувшейся и усталой, теперь пополнела, щеки цвели румянцем. Выглядела она лет на десять моложе и чувствовала себя соответственно. Мамзель Ловиса — корпулентная, неповоротливая и до того стеснительная, что в присутствии посторонних вовсе не открывала рта, — мамзель Ловиса похудела, похорошела и стала общительнее. Юхан с Анной завели среди стрёмстадской детворы множество друзей, и Юхан с таким огромным удовольствием ловил крабов, а Анна была так счастлива подружиться с несколькими девочками — дочерьми кондитера, которые всегда угощали ее карамельками, что ни тот ни другая совершенно не хотели возвращаться домой.

Что же до бедной хворой девчушки, то было незаметно, чтобы она набиралась сил и выздоравливала, впрочем, ее это нимало не тревожило, она чувствовала себя не менее счастливой, чем остальные. Все сложилось так, как она желала. Большая Кайса и она вновь стали неразлучными друзьями. Она командовала нянькой, а та баловала ее, как в первое, незабвенное время болезни.

Но так или иначе больше всех блаженствовал поручик Лагерлёф. В первую неделю его не раз потчевали строгими взглядами да резкими словами, когда он затевал разговор с каждым встречным, точно гулял по дороге возле Морбакки. Однако ж он не сдавался. Считал делом чести подружиться со стрёмстадскими обитателями. Да и те недолго сопротивлялись его обаянию. На губах суровых богомольных женщин мелькала улыбка, когда он встречал их на улице, ведь он заходил к ним в дом, расспрашивал о мужьях, хвалил детишек, не отказывался от приглашения выпить кофейку. На улице за ним частенько

следовала стайка мальчишек, обнаруживших, что у него в кармане всегда полно медных монеток. С рыбаками поручик Лагерлёф завязал до того тесные приятельские отношения, что то один, то другой спрашивал, не желает ли он выйти в море ловить макрель. А все старики-капитаны, которые сидели дома и тосковали по морю, звали его выпить стаканчик грога на крохотной веранде и рассказывали ему, как, бывало, мотались по свету, попадая в опасные передряги.

Поручик Лагерлёф любил людей и хотел узнать, как им живется в этих краях, он не делал ни малейшего различия меж знатным и простолюдином, и предметов для беседы всегда имел в достатке, и выглядел добродушным и приветливым, — словом, не удивительно, что народ в Стрёмстаде весьма ему благоволил.

Но никто не станет утверждать, будто он знать не знал о своей власти.

В этом путешествии морбаккскому семейству вообще сопутствовала удача. К примеру, они повстречали старых добрых вермландских друзей и проводили с ними все дни. А были это магистр Тобиесон из Филипстада, с женою и двумя сестрами, и неженатый магистр Лундстрём, принадлежавший к той же компании.

Сообща у них аккурат составилась лодочная команда, и чуть не каждый день они совершали под парусом долгие морские прогулки. Дети эти прогулки просто обожали. Тогда поручик Лагерлёф рассказывал о приятных вещах, какие говорили ему стрёмстадские обитатели. Рассказывал и о тех, кто грубо его обрывал, и о тех, кто говорил: дескать, жалко, что такой человек, как он, не шкипер. Опять-таки нередко в лодку прихватывали несколько больших корзин, и когда обществу наскучивало плавание, они сходили на берег и устраивали на каком-нибудь скалистом островке небольшой пикник. Малыши тогда, пользуясь случаем, непременно собирали ракушки. Прежде они таких никогда не видывали и удивлялись, что им позволено собирать сколько угодно этих сокровищ, не менее прекрасных, чем цветы и ягоды.

И вот как-то раз они отправились на одну из таких морских прогулок. Погода была чудесная, ветер попутный, корзины в лодке, поручик Лагерлёф переполнен историями, все предвкушали приятный вечерок.

Но в злосчастную минуту кто-то обронил, что они еще ни разу не высаживались на островок, расположенный прямо в виду Стрёмстада и носивший название Остров Гро, сей же час было решено причалить к этому островку и именно там устроить пикник.

Дело в том, что несколько веков назад жила на Острове Гро знаменитая ведьма Тита Гро, которая была могущественнее самого нечистого, и при жизни ее ни единому человеку не дозволялось ступить на этот островок. Если кто пытался, то непременно попадал в беду — ломал руку или ногу, а не то срывался в море, оскользнувшись на голых скалах.

Теперь-то Тита Гро давным-давно убралась в мир иной, а потому посещение островка вроде бы не грозило опасностью, однако шкипер на всякий случай их предостерег. Минувшей весной он в компании нескольких приятелей пересек Остров Гро из конца в конец, и один из них угодил-таки в расселину и сломал ногу.

От этого островок стал в глазах лодочной компании лишь еще привлекательнее. Им прямо-таки загорелось поскорее ступить на Остров Гро.

Лодка подошла к островку, скользнула под нависшие каменные кручи. Шкипер высматривал, где бы причалить.

В этот миг маленькая Анна Лагерлёф потянула маменьку за рукав.

— Мама, — сказала она, — Сельма плачет.

И правда. Хворая девчушка сидела вся в слезах. До сих пор ей было ничуть не страшно, а теперь вот она испугалась. Думала, будет весело сойти вместе со всеми на берег Острова Гро, но теперь, когда лодка очутилась под скальным обрывом, островок выглядел мрачно и зловеще. Вот в чем дело. Ее напугал всего-навсего скальный обрыв.

Остальные принялись выспрашивать, отчего она плачет, но девчушка ничего не говорила. Не могла же она сказать, что ее пугает каменная круча.

Скоро допросчики отстали, так как шкипер нашел где причалить, и честной компании стало не до нее.

Как только лодка ткнулась в берег, магистр Лундстрём из Филипстада вскочил на ноги и с причальным тросом в руках выпрыгнул на берег. Однако на берегу словно бы стоял какой-то невидимка, который пихнул его в грудь, — он отпрянул назад и, соскользнув с камня, на котором стоял, рухнул в воду.

Все перепугались, закричали от неожиданности, но испуг продолжался недолго. Шкипер стремительно, словно чайка за рыбой, перегнулся через борт, ухватил долговязого магистра за воротник и вытащил из воды, насквозь мокрого, однако совершенно невредимого.

Разумеется, всех до глубины душ взбудоражила ужасная картина — человек, падающий прямиком в смертоносную пучину. Хоть опасность и миновала, прежний легкомысленный настрой

никак не возвращался.

Магистр Лундстрём предложил честной компании сойти на берег, а сам он меж тем вернется на лодке в Стрём-стад и переоденется. Это ведь недалеко, лодка придет за ними, когда они пожелают.

Но они не согласились. Хватит с них Острова Гро. Никому не хотелось выходить на сушу, на скользкие камни и карабкаться по жутким каменным кручам.

Короче говоря, компания воротилась в Стрёмстад, говорили по дороге мало, каждый призадумался, уж нет ли в старинных преданиях все-таки крупицы правды. Не странно ли, что беда приключилась именно там? Ведь они побывали чуть не на всех островах стрёмстадских шхер, и ни разу ничего не случалось.

— Я сразу подумала, что девчушка плачет не к добру, — сказала одна из двух мамзелей Тобиесон. — Поняла: что-то случится.

— Н-да, а что скажет поручик Лагерлёф? — спросила ее сестра, обернувшись к нему.

— Что я скажу? Скажу, что иначе и быть не могло, коли мы послали на берег этакого школьного священника. Нет, он для Титы Гро не годится.

— Вы полагаете, поручик, — сказала мамзель Тобиесон, — что, если б мы послали кого-нибудь другого… Если б на берег выпрыгнули вы сами, поручик, нас бы встретили дружелюбней?

— Совершенно верно, разрази меня гром, — отвечал поручик Лагерлёф.

Господи Боже, как все смеялись! Мрачное настроение в лодке как ветром сдуло. Все представляли себе встречу поручика Лагерлёфа и Титы Гро.

Ну да, ведь он прекрасно знает, что неотразим.

Господи Боже, как все смеялись!

Райская птица

Жили они в крохотном домишке в начале Карлсгатан, и так им там нравилось, что поручик Лагерлёф и дети единодушно прозвали это место Маленькой Морбаккой. Более почетного титула дом в чужом городе вообще удостоиться не мог.

Перед домишком располагался огороженный штакетником садик, под тенистыми деревьями они завтракали и ужинали — эти трапезы происходили дома. За домом был еще один маленький участок с несколькими грядками картофеля, а прямо над ним, возле обрывистой скалы, стояла хибарка размером чуть больше каюты на “Уддехольме”. В хибарке жила хозяйка, капитанша Стрёмберг.

Они выяснили, что зимой капитанша сама живет в большем домике, а летом сдает его курортникам и перебирается в хибарку. Там она с утра до вечера сидела в окружении пышных цветущих олеандров, среди столиков и полок, уставленных диковинными вещицами, которые капитан Стрёмберг привез из чужих краев.

Когда г-жа Лагерлёф с мамзель Ловисой уходили к приятельницам выпить кофейку и поболтать, поручик Лагерлёф ловил с рыбаками макрель, Анна играла у кондитеровых дочек, а Юхан собирал крабов, Большая Кайса брала малышку Сельму на руки и спешила в хибарку к г-же Стрёмберг.

Они стали по-настоящему добрыми друзьями. Сидеть у капитанши под олеандрами было так же уютно, как на угловом диване у бабушки в Морбакке. Сказки г-жа Стрёмберг рассказывать не умела, зато показывала множество диковин. Большущие раковины, которые, если поднести их к уху, полнятся гулом и шумом, фарфоровых человечков с длинными косами на затылке и длинными усами, якобы привезенных из Китая, и две громадные скорлупы — одну от кокосового ореха, другую от страусиного яйца.

Большая Кайса и г-жа Стрёмберг обычно рассуждали о серьезных и божественных материях, непонятных ребенку, хотя иной раз толковали и о вещах попроще. Г-жа Стрёмберг рассказывала о муже и его путешествиях. Они узнали, что он владел большим красивым судном под названием “Якоб” и как раз сейчас совершал рейс в Португалию, в Сан-Ибиш, за солью.

Большая Кайса удивлялась, как г-жа Стрёмберг вообще способна жить со спокойной душой, зная, что муж ее бороздит страшные моря и океаны. Но г-жа Стрёмберг отвечала, что Всевышний хранит ее мужа. Когда он в море, на корабле, она боится за него не больше, чем когда он шагает домой по

стрёмстадским улицам.

Тут милая г-жа Стрёмберг обернулась к девчушке и сказала: она, мол, надеется, что муж ее в скором времени вернется домой, ведь на борту “Якоба” есть кое-что интересное, и Сельме это наверняка понравится. Там есть райская птица.

Девчушка мгновенно заинтересовалась:

— А что это?

— Птица из рая, — ответила г-жа Стрёмберг.

— Ты же слыхала, как твоя бабушка рассказывала про рай, Сельма, — сказала Большая Кайса.

Да, конечно, теперь она вспомнила. Бабушка рассказывала ей о рае, и она думала, что там все точь-в-точь как в маленьком розарии возле западного торца морбаккского дома. Вместе с тем она понимала, что рай каким-то образом связан с Богом, и так или иначе решила, что тот, кто хранит мужа г-жи Стрёмберг, так что та может быть одинаково спокойна, где бы он ни находился — на борту ли “Якоба”, на улицах ли Стрёмстада, — что хранитель этот и есть райская птица.

Само собой, ей очень захотелось поглядеть на эту птицу. Люди-то поголовно все жалели ее маменьку и папеньку из-за того, что она, Сельма, никак не выздоровеет. И на какие расходы они пошли ради нее, ведь путешествие стоит очень дорого!

Ей вправду ужасно хотелось спросить Большую Кай-су или г-жу Стрёмберг, не думают ли они, что райская птица поможет ей, но она чересчур робела. Наверняка ведь они поднимут ее на смех.

Но разговор девчушка не забыла. И каждый день мечтала, чтобы “Якоб” воротился и райская птица слетела на берег.

А спустя несколько дней услышала, что “Якоб” в самом деле воротился в Стрёмстад.

Вот радость так радость, но об этом она ни с кем не говорила. Для нее во всем этом было нечто необычайно торжественное. Она помнила, с какой серьезностью бабушка рассказывала про Адама и Еву. И не стала говорить Юхану и Анне, что на борту “Якоба” есть птица из рая и что она решила попросить птицу вылечить ей ноги. Даже Большой Кайсе и той слова не сказала.

Странно, что птица не появлялась. Каждый раз, когда заходила к г-же Стрёмберг, она надеялась увидеть в олеандрах поющую птицу, но та не появлялась.

Она спросила про птицу у Большой Кайсы, однако Большая Кайса думала, что птица осталась на “Якобе”.

— Вскорости увидишь ее, Сельма, — успокоила она. — Поручик сказывал, завтра мы все отправимся на “Якоба”.

Действительно, Большая Кайса оказалась права. Капитан Стрёмберг дня не пробыл дома, а уже успел крепко подружиться с

поручиком Лагерлёфом. Поручик несколько раз побывал на “Якобе”, и ему там очень понравилось. Теперь же все семейство отправится посмотреть, как на “Якобе” замечательно.

Выходя из дому, никто из них даже не задумывался, что означает — взойти на борт “Якоба”. По крайней мере, хворая девчушка воображала, что судно стоит у причала, в точности как большие пароходы.

Но как выяснилось, ничего подобного. Судно стояло на якоре далеко от берега, пришлось сесть в шлюпку и идти к нему на веслах. Удивительное зрелище — чем ближе они подплывали, тем больше “Якоб” вырастал в высоту. Скоро он стал как гора, и сидящим в шлюпке казалось совершенно невозможным вскарабкаться на палубу.

Тетушка Ловиса так прямо и сказала: мол, если они направляются к этому высоченному судну, то ей уж точно на борт не подняться.

— Погоди немного, Ловиса! — сказал поручик. — Вот увидишь, все куда легче, чем ты думаешь.

Однако мамзель Ловиса объявила, что с тем же успехом она могла бы карабкаться на флагшток на Лахольме. Самое милое дело — повернуть обратно, прямо сейчас.

Г-жа Лагерлёф и Большая Кайса согласились с нею: дескать, впрямь лучше повернуть восвояси.

Но поручик Лагерлёф упрямо стоял на своем. Они прекрасно поднимутся на борт, опасаться тут нечего. Может, первый и единственный раз в жизни им удастся осмотреть торговое судно, и упускать такой случай никак нельзя.

— Ну хорошо, на борт мы поднимемся, но уж сызнова спуститься в шлюпку нипочем не сумеем, — сказала тетушка Ловиса.

На полпути им встретилась шлюпка, груженная мешками.

— Видишь эту шлюпку? — спросил у сестры поручик Лагерлёф. — А известно ли тебе, что в мешках?

— Нет, дорогой Густав, откуда мне знать? — отозвалась мамзель Лагерлёф.

— Ну как же, это ведь мешки с солью, с “Якоба”, — просветил ее брат. — Ни рук, ни ног у них нету, но коли они смогли спуститься с палубы, то и ты сможешь.

— Да, попробуй-ка надень кринолин да длинные юбки, прыти у тебя мигом поубавится, — сказала мамзель Ловиса.

Так они пререкались всю дорогу. Девчушка, мечтавшая увидеть райскую птицу, всем сердцем желала, чтобы папенька уговорил тетушку Ловису и остальных подняться на борт, хотя ей тоже казалось, что это невозможно.

Причалили они к борту аккурат под качающимся штормтрапом, и несколько матросов “Якоба” спрыгнули в шлюпку, чтобы помочь гостям взобраться на палубу. Первой они подхватили хворую малышку. Один поднял ее, передал товарищу, а тот поднялся с нею по веревочной лестнице, или как она там прозывается, и поставил ее на палубу “Якоба”. А затем снова отправился вниз помогать остальным, и девчушка осталась одна.

Она испугалась, потому что стояла на узенькой полоске палубы. Впереди открывалась огромная зияющая дыра, а в глубине виднелось что-то белоснежное, и это белоснежное насыпали в мешки.

В одиночестве она стояла довольно долго. Похоже, в шлюпке восстали против подъема на борт. Никто не появлялся, и, немного успокоившись, она, разумеется, начала высматривать райскую птицу.

Искала ее вверху, среди рей и такелажа. Представляла себе, что она большая, вроде индейки, так что углядеть не составит труда.

Поскольку же никакой птицы не наблюдалось, она обратилась к каютному юнге капитана Стрёмберга, который стоял поблизости, и спросила, где райская птица.

— Идем со мной, покажу, — ответил он. Взял девчушку за руку, чтобы она не упала в трюм. И пятясь задом, начал впереди нее спускаться по каютному трапу, а она шла следом.

Не каюта, а сущее загляденье. Мебель и стены поблескивали красным деревом, и райская птица действительно была там.

Птица оказалась еще диковиннее, чем думала Сельма. Неживая, она стояла посреди стола, целая, красивая, при всем своем оперении.

Девчушка влезла на стул, а оттуда на стол. И уселась подле райской птицы, любуясь ее красотой. Каютный юнга стоял рядом и показывал ей длинные, блестящие висячие перышки. Потом сказал:

— Знаешь, она, видать, впрямь из рая. Ножек у нее нету.

Малышка именно так себе и представляла, что ходить в раю не надо, можно вполне обойтись парочкой крыльев, и с огромным благоговением смотрела на птицу. Сложила ладошки как для вечерней молитвы. Ее ужасно интересовало, знает ли каютный юнга, что эта птица хранит капитана Стрёмберга, но спросить она не решилась.

Она могла бы просидеть тут целый день в огромном восхищении, но ее отвлекли громкие крики с палубы. Кто-то словно бы звал: “Сельма, Сельма!”

Немного погодя все бодро-весело явились в каюту: поручик

Лагерлёф и Большая Кайса, г-жа Лагерлёф и мамзель Ловиса, капитан Стрёмберг, Юхан и Анна. Куча народу — всю каюту заполонили.

— Как ты сюда попала? — спросили они, до невозможности озадаченные и изумленные.

Тут и она сообразила, что прошла по палубе, спустилась по лестнице, вошла в каюту, сама, никто ее не нес.

— Ну-ка, слезай на пол, — сказали они, — посмотрим, можешь ли ты ходить.

Девчушка слезла со стола на стул, а со стула на пол и, когда очутилась на полу, могла и стоять, и ходить.

Как же все возликовали! Цель поездки достигнута, дорогостоящая затея не прошла зря! Малышка будет не беспомощной несчастной калекой, а нормальным, полноценным человеком.

Взрослые стояли со слезами на глазах и говорили о том, что именно превосходные купания в Стрёмстаде способствовали выздоровлению. Хвалили воздух, и море, и город и были так счастливы, что приехали сюда.

Своими соображениями малышка Сельма ни с кем не поделилась. Все-таки очень интересно, вправду ли ей помогла райская птица. Вправду ли это маленькое чудо с трепещущими крыльями, птица из краев, где нет нужды в ногах, научило ее ходить по земле, где как раз ходить крайне необходимо?

Подарок на память

И вот они распрощались с г-жой Стрёмберг и с Маленькой Морбаккой. Дети запаковали свои бесценные ракушки, взрослые заперли свои чемоданы. И сейчас все поднимутся на борт парохода, который увезет их прочь от Стрёмстада.

На пристани столпилось множество народу. Не только капитан Стрёмберг, и лодочная команда, и прочие знакомые курортники, но еще и огромное количество других людей.

— По-моему, тут собрались все здешние лоцманы, капитаны и рыбаки, — сказал один из господ, которые обычно ходили с ними под парусом.

— А заодно и все курортницы и рыбацкие жены, — добавил другой.

— Они все пришли попрощаться с Густавом, — сказала г-жа Лагерлёф. — Он же со всеми и каждым знакомство заводит.

Поручику Лагерлёфу пришлось прощаться с таким множеством людей, что, того и жди, на пароход опоздает. Все знали, что в Стрёмстад он приезжал в надежде на выздоровление маленькой дочки, которая не могла ходить, и не забывали его поздравить.

— Душа радуется, поручик, малютка-то сейчас стоит себе на палубе подле других детишек, — сказал один из рыбаков.

— Не иначе как твой мерлан, Олаус, помог девочке выздороветь, — быстро отозвался поручик.

— Да, мерлан — рыба хоть куда, — кивнул рыбак.

А поручик уже повернулся к группе курортниц:

— Спасибо вам! Вы тоже причастны к доброму делу.

— Густав, поднимайся на палубу. Пора! — крикнула с палубы г-жа Лагерлёф. — Уже третий гудок дали.

В самую последнюю минуту по сходням взбежали две нарядные девчушки. Поспешили к девочкам Лагерлёф, сделали книксен, вежливо пожали руки, пожелали счастливого пути, вручили каждой по сверточку и бегом убежали обратно на пристань.

Это были дочки кондитера, с которыми Анна играла все лето. Хворая малышка их почти не знала. И ее совершенно ошеломило, что они и ей преподнесли прощальный подарок.

Развернув бумагу, она увидела очень красивую вещицу: красная шелковая ленточка, а к ней приклеен кусочек папье-маше с вышитыми черным шелком буквами.

— Закладка это для книги, — объяснила Большая Кайса, — положишь ее в Псалтирь.

— Здесь написано “На память”, — сказала маменька. — Чтобы ты никогда не забывала маленькую девочку, которая смастерила ее для тебя.

Красная шелковая ленточка с кусочком папье-маше и буквами, шитыми черным шелком, с тех пор долгие годы лежала в ее Псалтири. И когда по воскресеньям в церкви она открывала книгу и видела закладку, та частенько увлекала ее мысли в давно минувшие времена.

Она чуяла запах морского берега, видела корабли и моряков, хотя само море вспоминала очень смутно, зато отчетливо представляла себе всевозможные ракушки, медуз, крабов, морских звезд, мерланов и макрель.

Затем из забвения возникал светло-красный домишко на Карлсгатан. Она видела райскую птицу, капитаншу Стрёмберг, “Якоба”, Остров Гро, Эстра-Хамнгатан, пароход “Уддехольм” и тройку лошадей, запряженных в большую бричку.

Под конец ей виделось и как бричка выезжает на большую зеленую лужайку, которую окружали низкие красные постройки, соединенные между собой белым штакетником. Остановились лошади перед длинным красным жилым домом с маленькими окошками и крылечком, и она услышала, как все путешественники в один голос вскричали: “Слава Богу, вот мы и дома!”

Все сразу узнали Морбакку, все, кроме нее. Будь она одна, знать бы не знала, что это за место. Она помнила родные пенаты, но никогда прежде не замечала, как все здесь выглядит.

На крылечке стояла согбенная красивая седая старушка в полосатой юбке и черной кофте. Бабушка, папенькина мама. Ее она тоже помнила, но не подозревала, что с виду она именно такова.

В точности так же обстояло и с братом Даниэлем, и с младшей сестренкой, и с экономкой, и с Отелло. Поголовно все были ей в новинку. Она их помнила, но раньше словно бы никогда не видела.

Ее подвели к бабушке — пусть покажет, что теперь может ходить. Позднее, в эстра-эмтервикской церкви, склоняясь над закладкой, она думала, что во время поездки в Стрёмстад научилась не только ходить. Еще она научилась видеть.

Благодаря этому путешествию она знала, как выглядели ее близкие, когда были в расцвете лет и радовались жизни. Если бы не это путешествие, память о тех временах наверняка бы стерлась.

А с помощью красной ленточки память о них продолжала жить. “Не позволяй всему этому кануть в забвение! — говорила

ленточка. — Помни своих родителей, ведь им так хотелось, чтобы их маленькая дочка стала здоровым нормальным человеком, и они не успокоились, пока ты не поправилась! Помни Большую Кайсу, помни ее великую любовь и терпение, помни, какие страхи на суше и на море она превозмогла ради тебя!”

Истории старой экономки

Бабушка

Через год после поездки в Стрёмстад морбаккских ребятишек постигло большое горе.

Умерла бабушка. До сих пор она каждый день сидела в спальне на угловом диване, рассказывала сказки да пела песенки.

На памяти ребятишек она всегда с утра до вечера рассказывала и пела, а они сидели рядом и слушали. Замечательная жизнь. Другим детям такое и не снилось.

Откуда бабушка знала столько песенок да сказок, они не ведали, но и сама она верила каждому слову тех историй, которые рассказывала. Повествуя о чем-нибудь по-настоящему удивительном, бабушка по обыкновению пристально смотрела малышам в глаза и самым что ни на есть убедительным тоном говорила: “Все это так же правдиво, как то, что я вижу вас, а вы меня”.

Однажды утром, когда дети спустились к завтраку, им не позволили зайти в комнатку при кухне и, как обычно, поздороваться с бабушкой — она захворала. Угловой диван в спальне целый день стоял пустой, а часы тянулись долго-долго, уму непостижимо, когда же они кончатся.

Через несколько дней детям сказали, что бабушка умерла. Когда она одетая в саван лежала в гробу, им всем велели подойти и поцеловать ей руку. Они боялись, и кто-то сказал, что это последний раз, когда можно поблагодарить бабушку за всю ту радость, какую она им дарила.

А затем настал день, когда песенки и сказки уехали прочь со двора в длинном черном гробу и никогда больше не возвращались.

Тяжелая утрата для ребятишек. Словно захлопнулась дверь в чудесный, волшебный мир, где они до сих пор так часто бывали. Не было никого, кто сумел бы открыть эту дверь.

Мало-помалу они научились играть с куклами и иными игрушками, как все дети, и тогда казалось порой, будто они уже не тоскуют по бабушке, не вспоминают о ней. Но это конечно же неправда, она по-прежнему жила в их сердцах. И они не уставали слушать истории про бабушку, которые рассказывала старая экономка. Запоминали их и хранили, как сокровища, с которыми никогда не расстанутся.

Призрак у Камня Отдохновения

Старая экономка обычно говорила, что, пожалуй, не так уж много времени минуло с тех пор, как Морбакку пустили под плуг и здесь поселился народ, потому как старая хозяйка сказывала, что, когда она была молода, люди еще помнили Морбакку как летние выселки, принадлежавшие к одной из старинных крестьянских усадеб, расположенных западнее по долине, ближе к озеру Фрюкен.

Однако же пытаться выяснить, когда именно туда пригнали первое стадо и построили первый скотный двор, по словам старой хозяйки, дело совершенно неблагодарное. Ведь пастухи могут хоть тысячу лет пробыть на одном месте и не оставить следа. И в Морбакке от них вправду мало что сохранилось.

Что до самого названия Морбакка, то старая хозяйка считала, такое имя дал холмистой песчаной пустоши у подножия Осберга кто-то из пастухов, пригонявших туда на выпас лошадей и прочую скотину. К тому же, по ее словам, они со своими стадами и дороги протоптали.

Ясное дело, дорогу с юга вдоль Осберга проложили пастухи, ведь именно оттуда они гнали свои стада. И дорогу с востока, прямиком по горным кручам, тоже они проторили. Ходили по ней, когда хотели навестить других пастухов, что останавливались по ту сторону Осберга. А дорога на северо-запад — в направлении Сунне — была до того скверная, что каждый понимал: это старая козья тропа. Но прямиком на запад пастухи, по мнению старой хозяйки, не хаживали.

На западе некогда было озеро, а теперь на его месте остались илистые луга и топкие болота, среди которых змеилась речка. С каменного порога своей хижины пастушка видела родную усадьбу по ту сторону долины, но, чтобы туда добраться, надо было идти долгим кружным путем — на север или на юг.

Чаще всего пастухи, наверно, приходили с юга, поскольку Камень Отдохновения, где они обыкновенно делали привал в долгом странствии, до сих пор лежал возле дороги довольно далеко к югу от усадьбы. И дорога там, пожалуй, была хорошая. Единственный недостаток — пастухи не решались ходить по ней ночью, в потемках.

Дело тут вот в чем: когда Морбакка еще была летними выселками, жил в суннеском приходе священник, до того злой да крутой нравом, что один парень, проработав у него в батраках месяц-другой, взял да и повесился. Ну, священник не одумался, а, узнав о случившемся, поспешил обрезать веревку и вынес

покойника во двор. И старая хозяйка сказывала, что потому только, что он прикасался к самоубийце, не по какой-либо иной причине, народ посчитал его осквернённым и нечистым. Суннеские прихожане не разрешили ему входить в церковь, заперли ее на замок, пока не пришлют нового пастыря.

Однако же этот священник обычно еще и в Эмтервик ездил, отправлял службу в тамошней церкви, при которой мог остановиться в маленьком домике, своего-то священника там не было. И наверно, суннеский священник решил, что Эмтервик — место глухое и вряд ли там успели прослышать, что он себя осквернил. Стало быть, можно отправиться туда и служить как обычно.

Сел он на лошадь и поехал в эмтервикскую церковь, да только дурная молва не промедлила добраться туда, и, когда он служил у алтаря, народ в церкви перешептывался о его поступке и о том, что недостоин он входить в Божий дом.

Мало того, эмтервикские крестьяне сочли, что он вконец их опозорил. Дескать, они ничем не хуже суннеских и не станут привечать священника, которого в Сунне отвергли.

Несколько мужиков помоложе уговорились его проучить. А поскольку знали, что идти на священника с кулаками опасно, решили дождаться, когда он пустится в обратную дорогу. Ехал он в одиночестве, и на конной тропе меж Сунне и Эмтервиком опять же хватало глухих мест, где можно подкараулить его в засаде.

Между тем священник не иначе как почуял, что ему грозит опасность. И направился в Сунне не обычной дорогой по западному склону долины, а выбрал пастушьи стежки, что вели по восточному склону, мимо Морбакки, думал, поди, что и таким манером до дому доедет.

Но старая хозяйка сказывала, что парни, затаившиеся возле дороги и тщетно поджидавшие священника, смекнули, что он их перехитрил, и хотели было несолоно хлебавши воротиться домой. Однако среди них находился брат священникова работника-самоубийцы, и он не желал, чтоб священнику все это сошло с рук. Взял длинную жердину, что осталась на лугу после сенокоса, и зашагал с нею в руках вниз по склону, к болоту. Остальные поступили так же, и без особого труда честная компания прыжками да перебежками выбралась на другую сторону долины. Аккурат пониже Морбакки почва под ногами стала твердой. Они поспешили на юг, наперерез всаднику, и перехватили его на взгорке, неподалеку от Камня Отдохновения.

Должно быть, они намеревались просто задать священнику хорошую взбучку, только вот, на беду, увязался с ними брат самоубийцы, который решил отомстить. Под плащом он прятал

меч и, когда остальные стащили священника с коня и швырнули наземь, выхватил клинок и отсек ему голову.

Все пришли в ужас от содеянного и теперь думали лишь о том, как бы устроить, чтобы осталось это шито-крыто. Лошадь они отпустили, а труп бросили на обочине дороги: пусть люди думают, будто убийство — дело рук кровожадных разбойников. А сами поспешили домой, опять же напрямик через болота. Надеялись, что никто не сможет засвидетельствовать, что они были на другой стороне долины. На проезжей дороге никто их не видел, а что они рискнули идти прямиком через болота, никому в голову не придет.

Все для них обернулось лучше, чем можно бы ожидать. Поскольку убитый священник именно тогда рассорился со своей паствой, искали его не слишком усердно, а когда нашли, вину за преступление свалили на разбойников да лесных бродяг. Даже мертвого священника народ считал осквернённым, нечистым, никто не хотел прикасаться к трупу, а так как все думали, что нельзя ему лежать в освященной земле, то и оставили его возле дороги. Только прикрыли дерном да навалили сверху груду больших камней, чтобы дикие звери не выкопали тело.

Старая хозяйка сказывала, что мертвый священник не сумел найти покоя в этой могиле, которую они ему уготовили, и светлыми лунными ночами являлся возле Камня Отдохновения — в длиннополом сюртуке, с головою в руках. Лошади видели его лучше, чем люди. Пугались, артачились, так что проезжающие часто поневоле делали вокруг этого места большой крюк через лесную чащобу.

Пока в Морбакке обретались только пастухи, больших хлопот призрак не доставлял. Но когда приехали новоселы и Морбакка в конце концов превратилась в настоящую крестьянскую усадьбу, стало куда хуже. Никто не мог взять в толк, как бы заставить призрака упокоиться в могиле, год за годом приходилось остерегаться и не ездить мимо Камня Отдохновения в полуночный час.

Впрочем, старая хозяйка заверила экономку, что теперь бояться безголового священника совершенно незачем, ведь одна из давних хозяек Морбакки, женщина разумная, решительная и посмекалистей иных, подарила ему покой.

Случилось так, что однажды поздним вечером эта крестьянка проезжала верхом на лошади неподалеку от Камня Отдохновения. Ярко светила луна, и, как она и ожидала, на дороге, возле груды камней, стоял призрак, словно бы намереваясь ее задержать.

Однако крестьянка не испугалась, и лошадь у нее тоже была спокойная и бесстрашная, как она сама. Подскакав вплотную к

призраку, женщина принялась увещевать его, уговаривать упокоиться в могиле.

“Отчего ты не можешь спокойно лежать там, где должно? — спросила она. — Знаешь ведь, могилы получше тебе не достанется. И не думай, будто тебя похоронят в освященной земле, ведь умер ты осквернённым, нечистым”.

Все это она произнесла с огромной уверенностью, так как знала, что он был дурным человеком, а потому совершенно недостоин лежать на церковном кладбище.

“И незачем тебе вставать из могилы и жаждать мести, — продолжала она, — ты же знаешь, что получил поделом, заслужил этакую расплату”.

Пока она говорила, призрак, как ей почудилось, сделался темнее, отчетливее, а под конец словно бы хотел наброситься на нее. Но она не убоялась, заговорила с ним еще раз, поскольку твердо решила положить конец бедствию.

“Коли ты упокоишься в могиле, обещаю тебе, что мой старший сын займет твою должность, станет священником. Он хороший мальчик и, без сомнения, станет таким слугою Господним, который обращает людские сердца к Богу, а не отвращает их от Него”.

Едва она произнесла первые слова, как заметила, что призрак будто растаял и пропал в лунном свете. Осталась лишь смутная тень, да и та исчезла, прежде чем она договорила.

С тех пор призрака возле Камня Отдохновения никогда больше не видели, а поскольку бедствие миновало, в Морбакке воцарились благополучие и счастье. Усадьба стала не хуже других в приходе, построек изрядно прибавилось, владельцы жили в достатке и о хлебе насущном не тревожились.

Старая хозяйка сказывала, что правдивость этой истории убедительно подтверждается тем, что в начале XVIII века одного из морбаккских парнишек послали в университет. Он выучился на священника и носил фамилию Мурелль, по отчей усадьбе, и в свое время его назначили в Эмтервик младшим священником. Поселился он в наследственной усадьбе Морбакка и был первым пастором, проживавшим в этом приходе. Все его предшественники жили в Сунне, а в Эмтервик приезжали только читать воскресные проповеди.

Эмтервикские крестьяне были очень довольны, что у них есть свой священник, а в первую очередь радовались, что живет он в собственной усадьбе — стало быть, нет нужды строить ему жилье. Сказать по правде, Морбакка располагалась далековато от церкви, хотя этот недостаток уравновешивался тем, что, благодаря своей собственности, священник был человеком состоятельным и

независимым.

Жалованье священникам платили маленькое, большая часть оседала в кармане пробста[3] в Сунне, так что не имей эмтервикский священник Морбакки, он был бы поистине бедняком.

Чтобы этакие обстоятельства, выгодные как пастве, так и пастырю, сохранились, первый священник из Морбакки выдал одну из своих дочек за священника по имени Люселиус и устроил так, что тот унаследовал и усадьбу, и должность.

Люселиус поступил подобным же образом. Выдал свою дочку за пастора Эрика Веннервика и в свою очередь отписал ему по завещанию усадьбу и должность.

Старая хозяйка сказывала, что все единодушно полагали такой порядок правильным и достойным продолжения. Пасторские дочки и те, по ее словам, были вполне довольны.

Пастор Веннервик

Старая хозяйка рассказывала экономке и о том, что три священника — Мурелль, Люселиус и Веннервик — как раз и отстроили Морбакку.

До них, говорила она, это была всего-навсего крестьянская усадьба, большая и зажиточная, но с виду такая же, как другие крестьянские дворы. Коли имелся скотный двор на десяток коров да конюшня на пару лошадей, больше и ожидать нечего. Жилой дом вмещал одно-единственное просторное помещение, где дневало и ночевало все усадебное население, да черную кухоньку, которую называли поварней. Кроме этих, в усадьбе хватало иных построек: свайная клеть и баня, солодовня и кузница, гумно и несколько сенных сараев, однако все они были невелики, что не удивительно — усадьба-то была тогда куда меньше. Обрабатывались только самые ближние участки.

Старая хозяйка говорила, что вообще трудно представить себе, как эти трое священников умудрились возвести конюшню на десяток лошадей и скотный двор на три десятка коров, не считая больших надворных построек вроде амбаров, кладовых, сеновалов и сараев, которые полагали необходимыми. Пивоварня с комнаткой, что служила усадебной конторой, тоже построена при них, как и молочная, и ткацкая мастерская, и жилье для старосты.

Напоследок — в самом конце 1790-х — папенька старой хозяйки, пастор Веннервик, возвел новый жилой дом. По сравнению со всем остальным весьма скромный. Удовольствовался одноэтажным домом с кухней и четырьмя комнатами внизу и двумя комнатами в мансарде. Но и кухня, и все прочие помещения были светлые, просторные и так хорошо устроенные, что уют встречал тебя с распростертыми объятиями уже в передней.

Именно пастор Веннервик заложил по северной стороне жилого дома большой сад с плодовыми деревьями и огород, где росли душистые травы, и завел перед западным фронтоном маленький розарий. По рассказам, вырос он в семье садовника и хорошо разбирался в садоводстве и огородничестве. Иные розовые кусты и привитые яблони в эмтервикских усадьбах посажены еще при его участии.

В юности он служил домашним учителем в большом господском имении и, по словам старой хозяйки, с тех пор полюбил ограды из штакетника и калитки. В Морбакке он обнес нарядным белым штакетником с красивыми калитками и огород, и розарий. Свернув с большака к аллее, сперва нужно было

отворить красивые ворота. По сторонам въезда тянулись постройки и ограды с калитками, так же выглядел и сам двор перед жилым домом.

Детвора любила слушать про пастора Веннервика. В усадебной конторе они отыскали в стенном шкафу книги на греческом и латыни, надписанные его именем, а еще стихи Бельмана и Леопольда,[4] переписанные его рукой. Дети знали, что фортепиано и гитара появились в усадьбе при нем, и составили себе о нем очень привлекательное представление. Про него рассказывала не только старая экономка, но и папенька и тетушки. Был он человек воспитанный, любезный, всегда старался хорошо одеваться, а любил не только цветы да яблоки, но, судя по всему, и птиц, потому что именно он соорудил восьмигранную голубятню на зеленом лужке под окном кухни. Дети понимали, ему хотелось навести во всем порядок и сделать Морбакку красивой. Священники, которые жили там до него, большей частью вели крестьянский образ жизни, он же поколебал эту простоту, завел кой-какие господские порядки, обогатил жизнь и облегчил ее.

Со времен пастора Веннервика в Морбакке сохранилась писанная маслом картина. Портрет девушки, которую он любил в юности, — богатой и знатной барышни из Вестеръётланда. Он был домашним учителем ее братьев, а поскольку до той поры юная барышня не встречала мужчины более красивого и привлекательного, она влюбилась в него, и он, конечно же, отвечал ей взаимностью. В укромных беседках дворцового парка молодые люди говорили о своей любви и клялись друг другу в вечной верности. Но однажды их застали вдвоем и молодого учителя немедля уволили.

Как единственная память о первых юношеских грезах остался у него портрет любимой, да и тот не ахти какой, ведь в окружении юной барышни не нашлось мало-мальски хорошего портретиста. Лицо под пудреными волосами выглядело напряженным и совершенно невыразительным — не то лицо, не то красивая маска.

Впрочем, головка и лицо отличались благородной формой, и тому, кто сам видел, как эти глаза сияли, а губы улыбались, портрет, наверно, казался вполне хорошим. Вероятно, пастор Веннервик, глядя на портрет, вновь ощущал жар давних юношеских чувств.

Вероятно, в этом портрете скромный сельский пастор черпал ту силу, которая побудила его окружить свой дом цветами и птицами, украсить жизнь музыкой и старинными песнями.

Гусак

Лишь один поступок пастора Веннервика дети не одобряли, а именно что на старости лет он женился на девице Раклиц, старой экономке, которая переезжала из одного господского имения в другое и которую вечно донимали да терзали злющие хозяйки, пока она сама не поддалась соблазну донимать да терзать других.

Если уж пастору Веннервику непременно понадобилось жениться снова, то не мешало бы, по крайней мере, защищать милую свою дочку от мачехи. А он позволил мачехе командовать ею по собственному усмотрению, наказывать ее, колотить и взваливать на нее непосильную работу — вот с этим дети никак не могли примириться.

И несказанно радовались, что однажды козел допьяна напился барды, сбил с ног саму г-жу Раклиц и опрокинул ее кувшин с самогоном.

Точно так же они принимали сторону рыночной толпы, которая таскала у нее фрукты на рынке в Омбергсхеде и кричала ей, что морбаккский пастор человек добрый и не станет требовать с бедняков денег за свои яблоки.

А в полный восторг их приводил ловкий воришка, сумевший отпереть ее кладовку с провизией, хоть она и завела там новый замок, большущий и тяжелый — в самый раз для каталажки.

И чуть не плакали из-за большого гусака.

Как-то раз погожим апрельским днем во времена г-жи Раклиц выпустили на лужайку возле скотного двора целое стадо гусей. И случилось так, что аккурат тогда высоко в поднебесье пролетали дикие гуси, по обыкновению с кликом да гоготом. Домашние гуси тоже загоготали в ответ, захлопали крыльями, но так происходит каждую весну, никто и не подумал, что надо бы запереть их в птичнике.

Стаи диких гусей пролетали одна за другой, и домашние гуси беспокоились все сильнее. Как вдруг большой гусак взмыл в воздух и присоединился к диким сородичам.

В Морбакке ждали, что он скоро вернется, однако ж нет, не вернулся. Улетел. И поскольку в первые сутки он не появился, все решили, что никогда больше его не увидят. Наверняка стал добычей лисицы или орла, говорили они, а чего доброго, просто рухнул наземь с разорвавшимися легкими. Мыслимое ли дело, чтобы домашний гусь сумел вместе с дикими сородичами добраться до далекого Севера.

Все лето о беглеце ни слуху ни духу не было, пришла осень, и опять над головой потянулись стаи диких гусей. С гоготом, с

призывным кликом, как обычно, и домашние птицы, гулявшие на лугу, хлопали крыльями и отвечали им.

Г-жа Раклиц заметила, что гуси беспокоятся, и на сей раз решила быть умнее. Приказала падчерице, Лисе Майе, бегом бежать на задний двор и запереть гусей в птичнике.

Лиса Майя поспешила выполнять приказ, но едва вышла на лужайку, как услыхала над головой громкий шум. Она и ахнуть не успела, а прямо перед нею опустилось на траву множество гусей. Во главе вышагивал роскошный белый гусак, за ним — крупная серая дикая гусыня и девять пестрых гусят. Пасторская дочка боялась шевельнуться, чтобы не спугнуть их. Только осторожно отворила дверь скотного двора и схоронилась за нею.

Гусак направился прямиком к скотному двору, семейство за ним. Когда они исчезли из виду, Лиса Майя тихонько высунула голову — посмотреть, куда они идут. Белый гусак прошагал прямиком к гусиному загону, гоготом позвал за собой остальных, и в конце концов все они зашли внутрь. Затем он показал семейству дорогу к корыту с кормом, полному овса и воды, и начал угощаться.

Он словно говорил своему семейству: “Смотрите, вот к этому я привычен. Вот как я жил всю жизнь. Никаких забот о пропитании, знай себе подходи к полному корыту”.

Лиса Майя Веннервик прокралась следом и, как только птицы очутились в гусином загоне, закрыла дверь. А потом поспешила к г-же Раклиц.

— Маменька, надобно тебе пойти и посмотреть! Гусак, который весной улетел, воротился с дикой гусыней и девятью гусятами.

Наверно, она до конца своих дней жалела, что закрыла гусака в птичнике и рассказала мачехе, что он воротился. Ведь г-жа Раклиц, ни слова не говоря, пошла и достала ножик, которым резали гусей, и еще до вечера роскошный белый гусак, и дикая гусыня, и красавчики-гусята были забиты и ощипаны.

— Дурно же ты, маменька, отплатила гусаку за то, что он воротился, да не один, а со столькими красивыми гусями, — сказала Лиса Майя. Больше она ничего сказать не посмела.

— Это затем, чтобы все гуси в усадьбе знали, что их ждет, коли они восстанут против меня и улетят прочь, — объявила г-жа Раклиц с недоброй усмешкой на суровых губах.

Лемминги

Г-жа Раклиц и при жизни отца Лисы Майи обращалась с девушкой бессердечно, а уж когда в 1801 году пастор Веннервик скончался и она стала единоличной хозяйкой в усадьбе, жестокости и требовательности у нее еще прибавилось. Падчерица целиком и полностью оказалась в ее власти, не имея нигде ни опоры, ни защиты. Семнадцатилетняя девушка, слишком юная, чтобы противостоять умной и хитрой старухе. Конечно, у нее был брат, но он круглый год жил в Упсале, учился, так что помощи от него ждать не приходилось.

Скоро меж мачехой и падчерицей разгорелась настоящая война. Г-жа Раклиц хотела, чтобы Лиса Майя по давнему обычаю вышла за священника, который занял отцову должность. Но девушка не соглашалась. Не поддавалась на уговоры, не слушала ни мачеху, ни прихожан, находивших давний порядок весьма похвальным. У пасторской дочки имелись свои примечательные соображения. Не желала она вступать в брак с мужчиной только потому, что он пастор в Эмтервике. Ей нужен такой, кого она еще и полюбит.

Новый пастор изо всех сил стремился к этой женитьбе и сумел подольститься к мачехе, так что она и лаской, и угрозами старалась помочь ему. Однако пасторская дочка упорно твердила “нет”, и тогда г-жа Раклиц надумала съездить в Эйервик к судье Санделину, опекуну Лисы Майи, и потолковать с ним.

Так она и сделала, и, понятно, судья с супругой поддержали ее. Оба хорошо знали г-жу Раклиц. Много лет она была в Эйервике экономкой, и они всегда считали ее женщиной умной и рассудительной. Вне всякого сомнения, она права: пасторской дочке из Морбакки, по заведенному обычаю, должно выйти за эмтервикского священника. Ни о чем другом речи быть не может.

Итак, в Эйервике г-жу Раклиц прекрасно знали. Пригласили отужинать, а потом жена судьи долго с нею беседовала, уж одиннадцать пробило, когда она отправилась в обратный путь. Ночь выдалась ясная, ярко светила луна, стало быть, можно не опасаться: до дому она доберется благополучно.

Г-жа Раклиц покидала Эйервик довольная собой — поездка прошла удачно, приняли ее хорошо, опекун согласился, что она права и Лисе Майе следует выйти за нового пастора.

Двуколка резво катила по дороге, что ведет в Сунне вдоль берега Фрюкена, а г-жа Раклиц меж тем прикидывала, как станет донимать бедную падчерицу, чтобы та покорилась. Ведь мачеха желает ей добра, хоть она этого и не понимает, а раз так, ни

малейших угрызений совести г-жа Раклиц не ощущала.

Как вдруг Воронок рванулся в сторону, да так резко, что едва не опрокинул двуколку. Словно обезумел. Помчался прочь с дороги, через канаву, и, лишь когда он выскочил на поле, Дылда Бенгт сумел его остановить. В конце концов конюх сладил с Воронком, но тот дрожал как осиновый лист. Правда, с места не двигался, только ногами перебирал все время, а потом внезапно заржал, прямо-таки издал вопль, какой редко услышишь от лошади, и стал на дыбы. Заставить его вернуться на дорогу оказалось невозможно. Когда Дылда Бенгт попробовал направить его вперед, он принялся лягаться задними ногами — того гляди, в щепки двуколку разобьет.

— Что такое? Что стряслось? В чем дело, Бенгт? — вскричала г-жа Раклиц, со страху больно цапнув конюха за плечо. — Совсем лошадь обезумела!

— Эта лошадь умнее нас с вами, хозяйка, — отозвался Дылда Бенгт, — и вовсе она не обезумела. Просто видит то, чего мы не видим.

Тут Воронок попятился. Морду он опустил к земле и фыркал, продолжая пятиться и ничуть не заботясь о судьбе двуколки и седоков. К счастью, угодили они на поле, где летом росла рожь, а сейчас, после уборки урожая, осталось ровное жнивье. Двуколка пока что держалась на колесах, однако они заметили, что приближаются к широкой и глубокой канаве.

Экипаж аккурат очутился на самом краю, когда Воронок остановился. Решил, видно, что главная опасность миновала. Стоял спокойно, никуда не рвался, только по-прежнему фыркал, снова и снова.

— Вам, хозяйка, лучше бы вылезти, — сказал Дылда Бенгт, — а я попробую силком провести Воронка мимо того, что он видит, каково бы оно ни было.

Пасторша опустила подножку, хотела ступить на землю, но вдруг с криком отдернула ногу и быстро уселась на прежнее место в двуколке.

— Не могу я вылезти, — сказала она Дылде Бенгту, — там что-то шевелится.

— Да вы, хозяйка, никак тоже обезумели, — сказал тот. — Что там шевелится-то?

— Все поле шевелится, вся земля шевелится, — отвечала г-жа Раклиц. Голос у нее дрожал, она чуть не плакала.

— Тьфу ты! — Дылда Бенгт спрыгнул с облучка. Он думал, Воронок пугается призрака, заступившего дорогу, а призраки обычно являются из воздуха. Никогда он не слыхал, чтобы они из земли выползали.

Однако ж и Дылда Бенгт вмиг сызнова взгромоздился в двуколку и думать забыл вылезать оттуда, потому что пасторша сказала чистую правду: земля шевелилась.

Не дрожала, как при землетрясении, не уходила из-под ног, как при оползне, нет, казалось, будто каждый ком земли на поле обзавелся ногами и двигался в сторону озера.

Седоки в двуколке ни живы ни мертвы смотрели на землю. И в конце концов разглядели-таки, что поле сплошь покрыто маленькими бегущими зверьками, да только страх от этого на убыль не пошел. Наверняка тут что-то сверхъестественное, мистическое. Откуда взялась этакая прорва зверьков? Ведь каждая пядь земли на поле шевелится и движется.

Вся эта уйма то ли зверьков, то ли неведомо кого перебралась через канаву на большак, а с большака хлынула прямо под кручу в озеро. Какие же зверьки станут этак себя вести?

Будь они из тварей Господних, поток их давно бы иссяк. Так нет же, конца-краю не видно, бегут и бегут через поле на дорогу и в озеро. Не сосчитать, сколько их тут.

Воронок тем временем более-менее успокоился. Только когда зверьки пробегали меж копытами, он фыркал и прядал назад. А вот г-жа Раклиц покоя не ведала. От ужаса она стучала зубами и что-то бормотала себе под нос.

Пока они стояли среди поля, она, по крайней мере, сидела смирно, однако Воронок не желал всю ночь торчать под открытым небом и по собственному почину тронул с места. Не спеша, шажком. Осторожно, с опаской переставлял ноги, и двуколка потихоньку продвигалась вперед.

Диковинные зверьки не разбегались перед конем и экипажем. Под колесами захрустело, когда они стали давить маленькие тельца.

Услыхав этот хруст, пасторша вздрогнула. Вскочила на ноги и закричала жутким, диким голосом.

Дылда Бенгт обхватил ее за плечи, ведь, не дай Бог, выбросится из двуколки.

— Заберут они меня, — кричала она, — ой, заберут! Они уже на колесах, на подножке, в экипаже!

Воронок прибавил шагу. Двуколка двигалась рывками, медленно, но верно, под колесами хрустело и чавкало, ведь они по-прежнему давили зверьков.

— Они уже тут, в двуколке! — завопила г-жа Раклиц, вспрыгнула на сиденье и стала там во весь рост. — Юбки мои теребят, хотят утащить в озеро!

Хочешь не хочешь, Дылда Бенгт встал: надо ее держать, не то упадет.

— По справедливости-то не надо бы мне тебя держать, пусть бы упала наземь, за злобу твою, — буркнул он, но крепкую хватку не ослабил.

Наконец они снова очутились на дороге, все еще запруженной живою движущейся массой. Пришлось и дальше ехать прямо по зверькам. Но вот Воронок остановился и довольно заржал.

— Ну-ну, вот и ладно, все позади. Сядьте, хозяйка! Не стойте столбом!

Однако унять г-жу Раклиц было не так-то просто.

— Они в двуколке, юбки мои теребят, в озеро тащат! — голосила она.

Делать нечего, Дылда Бенгт поднял ее, силком водворил на сиденье. Она упиралась, и он не решался выпустить ее из рук.

— Ступай, Воронок! Поди, и без вожжей до дому доберешься.

Воронок пошел шагом, а г-жа Раклиц меж тем, дрожа и шмыгая носом, твердила как заведенная, что они, мол, карабкаются по колесам и норовят залезть в экипаж.

— Давай-ка рысью, Воронок, — сказал Дылда Бенгт, — не то ведь спятит, прежде чем домой попадем.

Воронок, видать, понял. Впрочем, ему и самому хотелось в конюшню, к кормушке, так что он побежал ровной рысью вверх-вниз по холмам.

Дылда Бенгт обливался холодным потом. Снова и снова повторял, что опасность миновала, но пасторша ему не верила.

— Ты добрый человек, Бенгт, — заливаясь слезами, твердила она, — но не стоит меня обманывать, говорить, будто мы спасены. Я их слышу, я их вижу, они бегут следом, хотят утащить меня в озеро.

Когда двуколка наконец остановилась у крыльца в Морбакке и одна из служанок подошла помочь пасторше выйти из экипажа, та наотрез отказалась вылезать.

— Нет, не ты! — вскричала г-жа Раклиц. — Это не в твоей власти. Тебе не спасти меня от них.

Служанка в испуге отпрянула. Ведь г-жа Раклиц говорила совсем не так, как обычно.

— Ступай за пасторской дочерью, — продолжала хозяйка, — приведи сюда Лису Майю! Она единственная имеет власть над нечистой силой.

— Так мамзель Лиса Майя уже легла, — сказала служанка.

— Ступай да попроси: пущай поспешает! — вмешался Дылда Бенгт. — Скажи, пасторшу, мол, по дороге ужасть как напужали!

Г-жа Раклиц сидела в двуколке и дрожмя дрожала, пока падчерица, торопливо одевшись, не вышла на крыльцо.

— Ох, благослови тебя Господь! — Г-жа Раклиц протянула к

ней руки. — Сделай милость, помоги! Не таи обиду! Никогда больше я не стану дурно с тобой обращаться!

— Что случилось, маменька? — спросила пасторская дочка, подойдя к экипажу.

— Дай мне руку! — воскликнула мачеха. — Ох, милая, не подпускай их, а я вылезу из двуколки! Не дай им меня забрать! Тебе-то они ничего не сделают. Они в твоей власти.

Вылезши из двуколки, она бросилась падчерице на шею, повторяя:

— Не оставляй меня, не держи на меня зла! Выходи за кого хочешь, я слова не скажу.

— Призраков она встренула на дороге, — сказал Дылда Бенгт. — Все мелкие зверушки из преисподней высыпали. И она думает, они гонятся за ней, норовят утащить во Фрюкен.

Пасторская дочка обняла мачеху за плечи.

— Пойдем в дом, милая маменька! — сказала она. — Ты в Морбакке. Здесь, милая маменька, никакая нечистая сила тебя не достанет.

Г-жа Раклиц была так напугана и потрясена, что пасторской дочке пришлось долго увещевать ее, как малое дитя, но в конце концов она отвела ее в спальню и уложила в постель. Однако пасторша Лису Майю от себя не отпустила, всю ночь, пока не рассвело, девушка сидела возле мачехи, держа ее за руку.

С той ночи г-жа Раклиц больше не осмеливалась плохо обращаться с падчерицей. Никогда уже она не была прежней, в основном сидела у себя в комнате, целиком предоставив заниматься хозяйством Лисе Майе. Помогала, конечно, когда перед праздником или визитом гостей прибавлялось хлопот, но помогала только в доме.

Таким образом она дожила аж до 1835 года. Трудно сказать, подружилась ли она с падчерицей по-настоящему, однако когда Лиса Майя в конце концов вышла замуж и в доме появились малыши, она очень их полюбила. Каждый день они приходили к ней в западную комнатку поздороваться. Еще г-жа Раклиц любила кофе. Почти всегда в изразцовой печи горел огонь, чтобы можно было сварить кофейку.

Она часто угощала малышей кофейком, но их маменька считала, что детям это не на пользу. И попросту запретила им угощаться у бабушки кофе.

На другой день две младшенькие, Нана и Ловиса, по обыкновению наведались в западную комнатку, а когда вернулись оттуда, от обеих издалека пахло кофе.

— Ну, чем вас бабушка нынче потчевала? — спросила маменька.

— Кашей, мамочка, — без малейшего колебания хором отвечали девчушки.

— А в чем же сварили кашу? — продолжала маменька.

— В кофейнике, мамочка, — нисколько не раздумывая, ответили девчушки.

Маленькие глупышки ответили так мило и простодушно, что маменька невольно расхохоталась.

Водяной

Южнее Морбакки природа куда краше и разнообразнее, нежели в северной части прихода.

Там Фрюкен одну за другой образует узкие глубокие бухты, и в конце каждой — луга с плодородной почвой, лиственные леса, а зачастую три-четыре живописные старинные крестьянские усадьбы. Между бухтами расположены мысы, скалистые, поросшие лесом и до того негостеприимные и дикие, что никому в голову не приходило раскорчевывать их под посевы или строить дома.

Однажды летом Лиса Майя Веннервик верхом на лошади отправилась к Бёссвику, самой южной из фрюкенских бухт, решила заказать вкусных груш, которые вызревали в затишье под сенью холмов. Тамошний народ встретил ее радушно, пришлось погостить в нескольких усадьбах, так что в обратный путь она пустилась довольно поздно.

Впрочем, хоть и была одна, она не боялась, ночи-то летом светлые. Ехала себе не спеша, потому что ночь выдалась волшебно-прекрасная, и девушка от души ею наслаждалась. То она оказывалась высоко на холмистом гребне, в лесной чаще, где царил такой мрак, что ей чудилось, будто из дебрей, не ровен час, выскочат разбойники или медведи и стащат ее с коня. То спускалась в светлые долины с росистыми лугами, прелестными березовыми рощами и искристыми белыми озерками. Закатные краски в небе еще не совсем угасли, и озеро отражало их багряную игру. Никогда Лиса Майя не видела ничего чудеснее этой летней ночи.

Возле одной из бухт пасся на прибрежном лугу большой красивый жеребец. Весь серый в яблоках, грива длинная, чуть не до земли, хвост тоже до самой земли и пышный, ровно ржаной сноп. Круп широкий, холка высокая, глаза ясные, ноги стройные, голова маленькая. Белые копыта взблескивали серебром, когда конь поднимал ноги из травы. Неподкованный, и на теле ни следа от хомута или сбруи.

Лиса Майя тихонько спустилась вниз по склону и шагом направила Воронка к лугу, где щипал траву серый в яблоках. Они подошли совсем близко — разделяла их только городьба. Лиса Майя могла бы протянуть руку и погладить жеребца по крупу.

До сих пор он не обращал на них внимания. Но теперь поднял голову и посмотрел на молодую девушку.

А Лиса Майя Веннервик была так хороша собой, что, когда она ездила верхом, парни бросали топоры, косы или другой какой

инструмент, который держали в руках, и спешили к дороге, торчали там возле городьбы, пока девушка не проскачет мимо.

И представьте себе: когда красавец-жеребец поднял на нее глаза, ей почудилось, что взгляд его полон восхищения, точь-в-точь как у крестьянских парней, что стояли возле придорожной городьбы!

Мгновение он смотрел на нее, потом резко поворотился и галопом устремился прочь, только грива взметнулась вверх да хвост развевался. Промчался через весь луг и, к ужасу девушки, на полном скаку ринулся прямо в озеро. Дно у бухты было отлогое, и, когда жеребец поскакал по воде, брызги стояли вокруг него, словно пена вокруг водопада. И вдруг он исчез.

Лиса Майя подумала, что, наверно, случилась беда и конь тонет, в бешеной своей скачке внезапно угодив на глубину. Секунду она подождала — может, он выплывет на поверхность, но жеребец не появился. Озеро лежало гладкое как зеркало.

Тут Лисе Майе отчаянно захотелось подскакать к воде и, если возможно, спасти чудесное животное от смерти. Как это сделать, она не знала, но более красивого коня она в жизни не видела и не могла спокойно оставаться на дороге, палец о палец не ударив, чтобы ему помочь.

Она натянула поводья, направила Воронка в сторону пастбища и хлестнула его плеткой: дескать, давай прыгай через городьбу. Однако Воронок был из тех коней, у которых разума побольше, чем у человека, он не стал прыгать через городьбу, а вместо этого во весь опор припустил домой. Девушка, сидя высоко в дамском седле, вряд ли имела над своим скакуном большую власть и скоро поняла, что на сей раз нечего и пытаться принудить коня к послушанию. Воронок знал, чего хочет. Знал и что это за жеребец, которого она желала вызволить из воды.

А когда Лиса Майя очутилась на следующем гребне в темноте густого ельника, она тоже поняла, кого ей довелось увидеть.

Серебристо-серый жеребец с некованными копытами и длинной гривой — она ведь много-много раз слыхала разговоры о нем. Это не кто-нибудь, а Водяной собственной персоной.

Дома в Морбакке она рассказала о своем приключении, и все согласились, что она впрямь видела Водяного и что ей и прочим обитателям усадьбы надобно остерегаться, ведь не иначе как кому-то из них суждено вскорости утонуть.

Однако ж в окрестностях Морбакки озер нет, а то место к западу от усадьбы, где некогда было озеро, вконец пересохло, даже от топей и болот следа не осталось. Речка, в старину широкая и опасная, и та обмелела и, если летом не случалось дождей, превращалась в обыкновенный ручеек.

А вот поди ж ты, в августе, когда ночи стали темными и над речкой и лугами стлался туман, случилось так, что один старик в потемках возвращался домой в Морбакку и шел как раз с западной стороны. Что уж он там повстречал или увидел в тумане, никому не ведомо, только той ночью он не воротился, нашли его наутро: утонул в речке, до того мелкой, что вода едва покрывала тело. Старик был поврежден в уме, и не сказать, чтобы о нем очень горевали, зато все теперь окончательно уверились, что Лиса Майя вправду видела Водяного. И если бы тем вечером последовала за ним в озеро, он бы беспощадно утащил ее с собой в бездонную пучину.

Полковой писарь

Вряд ли г-жа Раклиц изменилась целиком и полностью, ведь старая экономка без устали твердила детям, какое счастье выпало мамзель Лисе Майе, когда она вышла за столь замечательного человека, как полковой писарь Даниэль Лагерлёф. Был он небогат, зато умен, добросердечен и честен. В нем она обрела именно ту опору, в которой нуждалась, чтобы сладить с жизнью.

Не пастор, конечно, но отец его, и дед, и прадед, и прапрадед были священниками, и все как один женились на пасторских дочерях, так что он состоял в родстве, считай, со всеми старинными пасторскими семействами в Вермланде. Таланта проповедника и оратора он от предков, увы, не унаследовал, а вот охота направлять и устраивать дела приходской паствы была у него в крови, и эмтервикский народ, поначалу невзлюбивший его за то, что он, женившись на пасторской дочке, нарушил заведенный порядок, — эмтервикский народ скоро привык препоручать ему все приходские дела.

Малыши очень удивлялись, слыша от экономки подобные разговоры. Они знали истории про своего дедушку, ходившие в народе. Он якобы превосходно играл на скрипке и, по крайней мере в молодости, страдал тяжелой меланхолией, отчего, не выдержав жизни дома, поневоле оставил родные пенаты.

Но старая экономка все это категорически отрицала. Не-ет, сущая напраслина, будто с полковым писарем что-то было не так! Не могла она взять в толк, кто внушил детям этакие бредни. Да, он, конечно, много разъезжал, но разъезжал-то всегда по необходимости, должность заставляла. Как полковому писарю ему надлежало раз в году объезжать весь Вермланд, чтобы стребовать военный налог. Вдобавок он не только исправлял должность полкового писаря, но еще и управлял Чюмсбергской фабрикой далеко у норвежской границы и, хочешь не хочешь, то и дело туда наведывался. И, наконец, в-третьих, он снискал столь добрую славу, что постоянно был нарасхват как попечитель и душеприказчик. Больше всего хлопот ему доставляла опека над г-жою Санделин, женой эйервикского судьи, которая унаследовала семь фабрик от их владельца Антонссона. Не один месяц он просидел на этих фабриках, расположенных к западу от Фрюкена, наводил порядок в тамошней неразберихе.

Но как только обстоятельства позволяли, он спешил домой в Морбакку, а случись иной раз приехать рано утром, доставал скрипку и, стоя под окном спальни, будил жену своею игрой.

Вот это — чистая правда, а что он надолго сбегал из дома и

никто знать не знал, где он находится, так это народ выдумал, заметив, что в Морбакке постоянно заправляет хозяйка.

Мало-помалу детям изрядно надоело слушать, что дедушка их был, дескать, человек серьезный, трезвый, рассудочный. Тем не менее, они не могли не принимать слова старой экономки на веру.

Но вот как-то вечером родители уехали в гости. Горничная, которой велели их дожидаться, уговорила новую няньку Майю, что сменила Большую Кайсу, не ложиться спать и составить ей компанию.

Они затопили в детской изразцовую печь, сдвинули поближе красные ребячьи стульчики, уселись и завели разговор шепотом, чтобы не разбудить девочек, спавших в своих кроватках.

Вдруг дверь отворилась — на пороге стояла старая экономка. Забеспокоилась она, куда подевалась горничная, и искала ее по всему дому.

Экономка вошла в детскую и тоже устроилась подле печки. Все равно ведь не заснет, пока господа благополучно не вернутся домой.

И когда вся троица уютно расположилась у огня, служанки, пользуясь случаем, спросили у старой экономки совета в одном важном деле.

— Мы с Линой надумали сварить сонную кашу, — начала нянька Майя, — только вот не знаем, будет ли от нее прок.

Таким манером они соблазнили старую экономку рассказать о том, как все было, когда мамзель Лиса Майя Веннервик испекла сонный блинчик.

В последнее Рождество при жизни пастора Веннервика мамзель Лиса Майя решила развлечения ради испечь в новогодний вечер сонный блинчик. Было ей тогда семнадцать лет, а значит, пора и о замужестве подумать. Она смешала три ложки воды, три ложки муки и три ложки соли, выложила смесь на сковородку, испекла, съела сколько могла и легла спать. Да вот беда — заснуть оказалось трудно, жажда мучила из-за соленого блинчика, а пить перед сном, понятно, никак нельзя, запрещено.

Проснувшись утром, она вообще не помнила, снилось ли ей хоть что-нибудь. Но позднее, днем, выйдя на крыльцо, вдруг замерла как громом пораженная. Вспомнила, что ночью, во сне, стояла на этом самом месте. И когда стояла тут, подошли к ней двое незнакомцев, молодой и старый. И старый господин сказал, что он пробст Лагерлёф из Арвики, а пришел сюда со своим сыном спросить, не испытывает ли она жажды и не хочет ли выпить глоток воды.

И молодой господин сей же час шагнул к ней и протянул стакан свежей воды. Она очень обрадовалась, увидав прозрачную, свежую воду, ведь горло ее во сне горело от жажды.

На этом сон оборвался, но с той минуты Лиса Майя знала, кто станет ей мужем, ведь именно тот, что является во сне и предлагает воду, когда ты отведала сонного блинчика, и есть твой суженый.

Мамзель Лиса Майя много размышляла о том, как же все произойдет, потому что тогда она не знала никого по фамилии Лагерлёф, однако вскоре после Нового года во двор вдруг завернули сани. Она стояла у окна, а когда увидела, кто сидит в санях, вскрикнула и схватила экономку за плечо.

“Приехал тот, кто мне снился, — сказала Лиса Майя. — Вот увидишь, его зовут Лагерлёф”.

Все вышло аккурат как она сказала. Приезжего действительно звали Даниэль Лагерлёф. Он управлял Чюмсбергской фабрикой и сейчас закупал сено.

Увидев его, мамзель Лиса Майя поначалу испугалась — некрасивый, обликом до того печальный и хмурый, что совершенно непонятно, как ей полюбить такого.

Он заночевал в Морбакке, а утром работник принес диковинную весть: два волка и лисица попались в лисью западню. А поскольку никто в усадьбе не знал, как вытащить пойманных хищников из западни, чюмсбергский управляющий всего-навсего с суковатой палкой в руках спрыгнул в яму, несколькими ударами по черепу оглушил волков и накинул каждому на шею петлю, чтобы вытащить их наверх.

А мамзель Лиса Майя пришла от его храбрости в такой восторг, что он сей же час ей полюбился. И она сказала себе, что хочет в мужья именно его, и никого другого.

Он в свою очередь при этой первой встрече влюбился в нее, только даже виду не подал. Раньше он уже был помолвлен и, хотя невеста, увы, умерла, вознамерился хранить ей верность и ни о ком другом не помышлять.

Так или иначе, тою зимой он несколько раз приезжал в Морбакку за сеном и скоро доведался, как тяжко жилось мамзель Лисе Майе с мачехой. Он жалел девушку, очень хотел ей помочь, но сам посвататься не мог из-за покойной невесты, и тогда надумал, что жениться на ней надобно его брату Элуфу, который служил священником где-то в северных лесах.

И он устроил так, что брат и мамзель Лиса Майя встретились. Только вот получилось из этого величайшее злоключение. Пастор до того влюбился в Лису Майю, что с той поры всю жизнь ни о ком другом думать не мог, а она любила чюмсбергского

управляющего, и никто больше не был ей нужен.

Впрочем, пастор Лагерлёф даже посвататься к ней не успел. Получил от епископа приказ обвенчаться с женщиной, которая несколько лет жила у него в доме и которой он обещал жениться. Тут явно не обошлось без участия г-жи Раклиц, и всё в целом обернулось сплошным злоключением, потому что пастор Элуф, не получивши Лисы Майи, запил и вконец опустился, хотя прежде был превосходным и славным человеком.

Даниэлю Лагерлёфу было больше некого предложить заместо себя, и, коль скоро он хотел помочь пасторской дочке из Морбакки, ему оставалось только жениться самому. Вдобавок он, вероятно, решил, что куда важнее помочь живому человеку, нежели скорбеть по умершему, и в самом деле посватался к Лисе Майе.

Мамзель Лиса Майя была на седьмом небе от счастья и думала, что теперь все ее беды миновали, но в скором времени заметила, что жених ведет себя странно и вроде как избегает ее. В Морбакку он заезжал редко, а когда заезжал, мог часами сидеть молчком, просто глядя на нее. Или брал скрипку и играл до самого отъезда.

В конце концов он стал появляться в Морбакке так редко, что она, бывало, чуть не целый год в глаза его не видала.

Порой она спрашивала, когда же они поженятся, и он всегда имел наготове какую-нибудь отговорку. То твердил, что надобно подождать, когда он заработает денег и сможет выкупить Морбакку у ее сонаследников. В другой раз объявлял, что должен помочь братьям, которые учились в Лунде, в третий — что со свадьбой надобно повременить, прежде он хочет посмотреть, удастся ли ему получить должность полкового писаря.

Словом, все откладывал да откладывал. То канцелярской работы невпроворот, то разъездов слишком много.

В конце концов уже никто, кроме мамзель Лисы Майи, не верил, что они поженятся. И для нее это было прескверно, ведь молодые господа из Сунне и Эмтервика начали ездить в Морбакку свататься. Она давала им понять, что их усилия напрасны, однако некоторые упорно приезжали снова и снова, а коли она запрещала им появляться в Морбакке, караулили на лесной опушке, когда она куда-нибудь направлялась.

Все дурное, что знали про Даниэля Лагерлёфа, они непременно докладывали ей. То она слышала, что он водит компанию с самыми что ни на есть дрянными и спившимися кавалерами, которые шастали по округе да опустошали усадьбы, наводя ужас на добропорядочное население, то доносили, что он скитается по лесам, ровно дикий зверь.

Кое-кто донимал Лису Майю разговорами о том, что должность полкового писаря теперь за ним и не мешало бы ему жениться, коли не наскучил, а кое-кто пугал ее: он-де ухаживает за дочкой Финна-Эрика, якобы первого богача во всем краю.

Впрочем, мамзель Лису Майю все это нимало не трогало, она по-прежнему радовалась и верила, что дело пойдет так, как предсказано во сне.

Но однажды дошел до нее слух, будто жених ее сказал, что будь он свободен от помолвки, то поехал бы за границу всерьез учиться игре на скрипке.

Вот эта весть, как ничто другое, поразила ее в самое сердце, и она пошла потолковать с Дылдой Бенгтом.

“Послушай-ка, Бенгт, — сказала она, — заложи двуколку, езжай в Чюмсберг и привези сюда полкового писаря, мне надобно непременно с ним поговорить”.

“Что ж, попробую, — отвечал Дылда Бенгт, — но как мне быть, ежели он по своей воле ехать не пожелает?”

“Скажи, что тебе никак нельзя возвращаться одному”, — сказала Лиса Майя, с тем Дылда Бенгт и отправился в дорогу.

До Чюмсберга далеко, целый день пути, и воротился Дылда Бенгт только следующим вечером, однако ж и полкового писаря в двуколке доставил.

Мамзель Лиса Майя приняла его, как всегда, с дорогой душой. Пригласила в залу, предложила сесть и отдохнуть после долгого путешествия и распорядилась поскорее подать ужин, ведь он наверняка очень проголодался.

Даниэль Лагерлёф расхаживал взад-вперед по комнате с видом хмурым и нетерпеливым. Казалось, только ждал удобного случая, чтобы убраться отсюда.

Когда они вдвоем сели за стол, Лиса Майя оборотилась к нему — в ту самую минуту, когда экономка вошла подать ужин, аккурат будто ждала ее, — и спросила, правда ли, что он предпочел бы расторгнуть помолвку.

“О да”, — отвечал он, все так же хмуро. Он действительно этого хочет, и ей давно бы пора понять.

Тут лицо ее залилось краской, и она сказала, что если не спрашивала об этом раньше, то лишь по одной причине: она твердо верит, что они предназначены друг для друга.

С неприятным смешком он поинтересовался, что она имеет в виду.

Лиса Майя покраснела еще гуще и в кратких словах рассказала, как приготовила в новогоднюю ночь сонный блинчик, как во сне увидела его и его батюшку и что его батюшка ей сказал.

Полковой писарь отложил вилку и нож и с удивлением воззрился на нее.

“Ну, это ты, поди, задним числом сочинила”, — сказал он.

“Можешь спросить у Майи Персдоттер, как я тотчас узнала тебя и сказала, кто ты таков, когда ты еще из саней вылезти не успел, в самый первый раз, когда ты приехал сюда купить сена”, — ответила мамзель Лиса Майя и повернулась к экономке, которая ставила на стол еду.

“Но почему ты раньше никогда об этом не говорила?”

“Думаю, ты сам понимаешь. Не хотела я привязывать тебя ничем, кроме собственной твоей охоты”.

Он опять замолчал, хотя было видно, что услышанное сильно его взволновало.

“Можешь мне описать, как выглядел тот человек, что назвался пробстом Лагерлёфом из Арвики?”

“Конечно”, — ответила она и рассказала, как тот выглядел. И, должно быть, все в точности совпало, так как сын был настолько ошеломлен, что вскочил из-за стола.

“Батюшка-то мой умер в тот год, когда ты родилась на свет! — воскликнул он. — Хотя ты вполне могла слышать о нем”.

“Я никогда не видела никакого Лагерлёфа и до того сна слыхом не слыхала ни о тебе, ни о твоем батюшке, — сказала мамзель Лиса Майя. — Спроси у Майи Персдоттер, вот же она тут, рядом, спроси, слыхала ли она, как я много раз таким образом описывала твоего батюшку!”

Тут полковой писарь остановился прямо перед нею. “Если б я только мог поверить!” Он опять прошелся по комнате. Опять остановился перед нею. “Ведь это означает, что мой дорогой батюшка предназначил тебя мне”.

Что ответила ему мамзель Лиса Майя, старая экономка так и не узнала, она смекнула, что ей пора уходить.

После этого полковой писарь и мамзель Лиса Майя несколько часов говорили друг с другом, а на следующий день помирились и тою же осенью сыграли свадьбу.

Позднее мамзель Лиса Майя сказывала экономке, что помехой были всего-навсего его меланхолия да причуды. То он думал, что несправедливо обидит покойную невесту, то вспоминал брата Элуфа и думал, что негоже ему быть счастливым, коли брат по его милости так несчастен.

Но этот сон стал ему твердой, прочной опорою, и он набрался смелости сделать то, чего желал более всего на свете.

А как только женился, сразу стал другим человеком. В первые годы его порой одолевала-таки меланхолия, но мало-помалу он успокоился, стал ровен характером. Через год после того, как в

Морбакке сыграли свадьбу, брат его утонул, и полковой писарь долго горевал, однако ж и это миновало, прошло.

Он и старая хозяйка прожили вместе сорок шесть лет, и последние три десятка лет все невзгоды остались позади, и не было на свете более счастливой пары.

■

А дети лежали в кроватках, слушали, удивлялись и одновременно от всего сердца радовались, ведь до сих пор дедушка казался им этаким деревянным идолом, теперь же стал живым человеком.

Ополченцы

В 1810 году, когда бабушка, отцова маменька, уже несколько лет была замужем и имела детишек, сидела она как-то вечером у восточного окошка в комнатке подле кухни. Смеркалось, заниматься шитьем слишком темно, а поскольку уже близился к концу март и сальные свечки были на исходе, она взялась вязать чулки, так как со спицами управлялась и в полной темноте.

Некоторое время она усердно вязала и вдруг почувствовала неодолимую потребность поднять голову и глянуть в окно. Посмотрела — и глазам своим не поверила. Вот только что было тихо и ясно, а теперь — сплошная снежная круговерть. Снег падал так густо, что она с трудом различала отблески огня в окошке людской прямо напротив. Ветер задувал с такой силой, что снег громко шуршал по стенам, и за короткое время, что она сидела у окна, намело высоченные сугробы, в которых утонули кусты и штакетники.

С началом ненастья сделалось гораздо темнее, но все-таки она сумела разглядеть, как по сугробам промчались на задворки усадьбы несколько крупных животных. И сразу поняла, кто это. “Служанкам надобно остерегаться, не стоит им ходить за дровами, — подумала она, — серые хищники вышли нынче на охоту”.

И едва подумала, как услыхала крик и увидела, что мимо окна прочь со двора грузно пробежал волк. В пасти у него, отчаянно стараясь вырваться, трепыхалась добыча. Ей показалось, это ребенок, но откуда он тут? Собственные ее малютки — вот они, рядом с нею, а других ребятишек в усадьбе нет.

Следом за первым волком мелькнул второй, тоже с ребенком в пасти.

Больше бабушка не могла усидеть у окна. Встала, да так стремительно, что стул опрокинулся, бегом бросилась на кухню, а оттуда к черному ходу и на улицу. И замерла на пороге. Стоял ясный, тихий, погожий вешний вечер. Ни тебе метели, ни волков. Наверно, она задремала над вязанием и все увиденное было не иначе, как сном.

Однако бабушка смекнула, что за всем этим кроется что-то серьезное.

— Надобно хорошенько присматривать за ребятишками, — наказала она слугам. — Не сон это был, а предостережение.

Но с детьми ничего опасного не происходило, они благополучно подрастали, и видение, или сон, или что уж это было, мало-помалу отступало в забвение, подобно многим таким

вещам.

К концу августа заявилась в Морбакку целая ватага оборванных солдат. Грязные, голодные, хворые, тощие как скелеты, глаза жадные, ровно у хищных зверей. И все словно бы отмечены смертью.

Они рассказали, что родом из фрюкенского края и других приходов на севере озерной долины. И что теперь вблизи от родных мест им вовсе не радостно, напротив, даже страшно, что близкие их не узнают. Два года назад они, здоровые и полные сил, ушли из дому. Что скажут родные, коли они вернутся в этаком плачевном состоянии — как говорится, краше в гроб кладут?

Воевать не воевали, только ходили туда-сюда, терпя голод и холод. Баталий никаких не видали, сражались лишь с болезнями да с небрежением.

На первых порах, когда выступили в поход, было их много тысяч, но эти тысячи гибли одна за другой. Они рассказывали, как несчетное их число посадили на весла в открытых лодках — в бурном море посреди зимы. Как прошла переправа, никто не ведал, но когда лодки пристали к берегу, все гребцы были мертвы, заледенели, замерзли до смерти.

Те, кто выжил, пешком разбрелись по домам, однако ж не раз случалось, что их забрасывали камнями и гнали прочь от поселков и усадеб, к которым они приближались.

Больше всего их удручало, что не довелось им попасть на войну и получить пулю, приходится влачить жалкую жизнь в бесконечных страданиях.

Они вполне сознавали, каковы с виду: вшивые, грязные, вонючие — смотреть тошно. Придя в Морбакку, они не просили ни постели, ни крова. Им бы охапку-другую соломы да сухое место, чтобы отдохнуть.

В Морбакке несчастных солдат камнями не забросали. Полковой писарь находился в отлучке, но жена его позволила им расположиться на задворках усадьбы, прямо у забора. В больших котлах сварили для них каши да молочного супа, собрали кое-что из одежды.

Усадебные обитатели все время толпились вокруг их лагеря, хотели послушать рассказы про то, что им довелось пережить. Однако ж и говорить мог не каждый. Иные так отупели, что не отвечали, когда к ним обращались. Будто не ведали толком, кто они такие и куда держат путь.

Очень все было странно с этими парнями, которые до такой степени переменились; слухи о них разнеслись по округе, и люди приходили издалека поглядеть на них.

— Вон тот, — сказал один из чужаков, долго наблюдавший за бедолагами, — сказывают, это сын Ёрана Перссона из Турсбю. Но я-то знал сына Ёрана Перссона. Здоровый был парень, крепкий. Этот вовсе на него не похож.

Однажды пришла бедная вдова. Из крошечного лесного хутора далеко на севере, где влачила свои дни в жестокой борьбе с голодом и нуждой.

Некоторое время она рассматривала хворых ополченцев, потом спросила:

— Есть среди вас такой, что зовется Бёрье Кнутссон?

Ни один из них не откликнулся. Все сидели на земле, подобрав ноги и уткнувшись подбородком в колени. Так они сидели часами, не шевелясь.

— Коли есть среди вас Бёрье Кнутссон, пущай откликнется, ведь он мой сын, — продолжала женщина.

Никто из жалких бедолаг опять не сказал ни слова и не пошевелился. Даже глаз на нее ни один не поднял.

— Я все глаза выплакала с тех пор, как он ушел со двора, — сказала бедная вдова. — Коли он тут, среди вас, пущай встанет да скажется, ведь я не могу его признать.

Но никто не нарушил молчания, и женщина медленно побрела прочь.

Первому встреченному после этого человеку она рассказала, что с нею произошло. И держалась спокойно, чуть ли не радовалась.

— До сих пор я думала, что ума решусь, ежели сын мой не воротится, — сказала она. — А теперь благодарю Господа, что нету его среди этих кощеев.

Ополченцы отдыхали в Морбакке целую неделю. А потом, чуток набравшись сил, продолжили путь на север.

Но оставили после себя кровавый понос. Все в усадьбе тяжело хворали, умерли же только двое бабушкиных детишек. Слишком маленьких, чтобы перебороть болезнь.

Когда детей положили в гроб, бабушка подумала: “Если бы я поступила, как другие, если бы не приняла этих людей, а камнями прогнала прочь, дети мои и сейчас были бы живы”.

И в тот миг, когда она об этом подумала, ей вспомнилось видение, случившееся вешним вечером, — два волка и детишки, которых они утащили.

— Господь тут без вины, — сказала она, — Он меня предостерег.

Малыши умерли не оттого, что она была милосердна, а оттого, что она недостаточно позаботилась оградить их от заразы.

Размышляя о том, что в конечном счете дети умерли по ее

вине, она испытывала поистине непреоборимую скорбь. “Никогда я их не забуду, — думала она, — никогда не смогу оправиться от горя”.

Отчаяние ее еще усиливалось от страха перед тем, как муж воспримет утрату детишек. Он не был дома уже несколько месяцев. Видно, меланхолия одолела, вот и не смел воротиться домой. Где он сейчас, она не знала. Не могла даже весточку послать, сообщить, что случилось.

Наверно, он решит, что это кара Господня за то, что они поженились. Может, и вовсе к ней не вернется.

Теперь она и сама усомнилась, правильно ли они поступили. Может, и вправду лучше им более не видеть друг друга.

Все в усадьбе робели хозяйкиной безутешности, но не ведали, как помочь бедняжке. Однако Дылда Бенгт, работник, самый старший годами, не побоялся кое-что предпринять на свой страх и риск и снова поехал в Чюмсберг искать хозяина.

На сей раз Дылда Бенгт воротился не через два дня, а куда быстрее. Он действительно отыскал в Чюмсберге полкового писаря и изложил ему свое дело, но едва успел договорить до конца, потому что хозяин велел сию минуту запрячь в двуколку свежего коня; они без остановки ехали всю ночь напролет и уже следующим утром добрались до Морбакки.

По приезде муж повел себя вовсе не сурово, не жестоко. Он ласково обнял жену, утер ей слезы и утешал ее нежными, мягкими словами.

Казалось, только теперь, видя ее сломленной и горюющей, он смог открыть ей всю глубину своей любви.

Она просто глазам своим не верила, твердила:

— Я-то думала, что и тебя потеряю!

— Не из таких я, кто бежит прочь от горя, — сказал он. — Думала, я оставлю тебя оттого, что ты была слишком милосердна?

В эту минуту ей думалось, что она, как никогда прежде, уразумела его натуру.

Во дни радости и благополучия она знала, что должна полагаться на себя самое, и это было ей вполне по плечу. Но в горести и беде, во дни невзгод он всегда будет рядом, станет ей опорой и надежей.

Старые постройки и старые люди

Каменные дома

Когда хозяином в Морбакке стал поручик Лагерлёф, почти все усадебные постройки уже имели солидный возраст, но самыми старыми считались людская и овчарня. Конечно, твердо поручиться за это никто не мог, ведь и старая свайная клеть, где хранили припасы, и конюшня с длинной низкой галереей под крышей, и баня, где коптили свинину, и солодовня, где высолаживали ячмень, тоже появились отнюдь не вчера. Но людская и овчарня были сложены из дикого камня, из собранных на полях каменных обломков, круглых и плоских, больших и маленьких, стены в два локтя толщиной, будто в расчете на осаду. Строили так явно не в прошлом году и не в позапрошлом, стало быть, касательно возраста дома эти определенно заслуживали первенства.

Люди, всерьез обосновавшиеся в Морбакке, пришли, скорее всего, из какого-то ближнего поселка, где народу в домах больше чем достаточно, а вот пахотной земли маловато, прокормиться трудно. Наверно, это были молодые люди, которым хотелось жить вместе, но по причине бедности они не видели иного выхода, кроме как отправиться новоселами в глушь. Присмотрели хорошее пастбище для скота у подножия Осберга и подались туда, а на первых порах устроились, видимо, в летних хибарках, где раньше жили работницы-доярки. Хотя немного спустя им стало там, скорей всего, не слишком уютно. Места безлюдные, то медведь в хлев нагрянет, то к ним самим ватага бродячих углежогов завалится.

В таких обстоятельствах вполне естественно, что они соорудили пару построек из камня — одну для себя и одну для скотины.

Та, что для скотины, размером была побольше. Без окон, с маленькими отверстиями, забранными самодельными железными решетками, — ни медведь, ни рысь не пролезут. Пол без настила, земляной, помещение разбито надвое стенкой из толстых жердей, так что скот, который вместе не уживался, держали раздельно. Лошади и овцы, которые всегда дружат, стояли в одной половине, а коровы и козы — в другой.

Каменный дом поменьше, предназначенный для людей, состоял из одного-единственного помещения. Зато там настелили пол из вручную обтесанных лаг, в длинной стене проделали два окна, устроили печь с дымоходом. С восточной стороны, напротив окон, новоселы соорудили большой спальный шкаф. Там помещались две широкие кровати внизу, на полу, и две такие же

широкие — под потолком. На каждой свободно могли расположиться три человека. Вдоль стены с окнами тянулась лавка, а перед нею стоял массивный сосновый стол. Печка располагалась у торцевой стены, против входа.

При поручике Лагерлёфе, когда давний жилой дом использовали как людскую, все там выглядело почти так же. И спальный шкаф сохранился, и печка, и окна с частым переплетом и железными решетками. Длинная дощатая лавка и стол исчезли, вместо них поставили верстак с ящиком, полным инструментов. Еще там были три круглых трехногих стульчика, вполне возможно уцелевшие с времен первопоселенцев, и такая же старая колода, стоявшая возле печи.

Здесь жили конюх и парнишка-батрак, сюда приходили поесть и отдохнуть остальные работники, сюда посылали бедных странников, которые просились на ночлег.

Здесь на старости лет коротал свои дни Маленький Бенгт, который во времена полкового писаря состоял в конюхах, а служил в усадьбе так долго, что поручик Лагерлёф представил его к медали.

Сей почетной награды удостоился еще один человек в усадьбе — старая экономка. Правда, она была далеко не так стара, как Маленький Бенгт. Трудилась покамест, была бодра и проворна, а медаль получила в церкви, на хорах, и отвезли ее туда в господском экипаже.

Но Маленький Бенгт в тот день лежал больной, мучился ломотой в суставах и прострелом, в экипаж забраться не мог и поневоле остался дома.

Медаль ему, конечно, все равно вручат, но уже без той большой торжественности, какая ожидала в церкви. По слухам, в Эмтервик должен приехать суннеский пробст, чтобы произнести речь в честь преданных слуг и самолично повесить им на шею блестящие серебряные монеты.

Не удивительно, что Маленький Бенгт очень сокрушался, лежа в жару и боли, ведь величайший в жизни миг обошел его стороной.

Поручик Лагерлёф, разумеется, рассказал пробсту, что Маленький Бенгт захворал и не смог приехать в церковь. Однако ж именно слуге, всю жизнь трудившемуся в одной усадьбе и делившему с хозяевами невзгоды и удачи, пробст более всего на свете желал бы отдать дань уважения. И узнав, как обстоит дело, немедля согласился после богослужения отправиться в Морбакку и лично вручить Бенгту медаль.

Услышав эти слова, поручик обрадовался, но и слегка обеспокоился. Церковь он покинул так скоро, как только

позволяло благоприличие, и во всю прыть помчался домой, чтобы добраться в Морбакку раньше пробста.

Маленького Бенгта спешно умыли, причесали и облачили в воскресную рубаху. На постели сменили белье и вместо обычной овчины укрыли старика красивым вязаным одеялом. Людскую чисто вымели, стружку из-под верстака вынесли вон, черную от сажи паутину под потолком смахнули. Пол посыпали можжевеловой хвоей, возле двери положили свежие еловые лапы, а в печку сунули большую вязанку березовых веток и сирени.

Пробстом в Сунне был тогда не больше и не меньше как сам Андерс Фрюкселль.[5] Представительный, строгий, внушающий почтение, а вот ведь не выказал пренебрежения и, как только прибыл в Морбакку, немедля прошел в людскую к Маленькому Бенгту, чтобы надеть ему медаль.

И поручик, и г-жа Лагерлёф, и мамзель Ловиса, и экономка, и весь усадебный народ последовали за ним. Понятно, они ожидали, что пробст скажет у Бенгтовой постели краткую речь, а потому в благоговейном молчании стали вдоль стен людской.

Сперва все шло как полагается. Для начала пробст прочел несколько библейских изречений, Маленький Бенгт лежал и слушал, притихший, торжественный.

— Ты, Бенгт, — сказал пробст, — был таким хорошим и преданным слугою, о каких глаголет Господь.

— Да, — отозвался с постели Маленький Бенгт, — это верно. Точно, таков я и был.

— Никогда ты не ставил свое благо превыше хозяйского, оберегал то, что тебе препоручали.

— Да, все правильно. Премного вам благодарен за этакие слова, пробст.

По всей видимости, пробста постоянные перебивания раздражали. Он ведь был человек важный, общаться привык с важным народом и умел себя вести в любых обстоятельствах. Люди легко впадали перед ним в замешательство, а он всегда чувствовал свое превосходство и последнее слово оставлял за собой.

Теперь же он не успел как следует подготовить речь, ведь поездка в Морбакку случилась неожиданно и быстро, а та речь, какую он держал в церкви, для людской, пожалуй, не годилась. Он раз-другой кашлянул и начал снова;

— Ты, Бенгт, был хорошим и преданным слугою.

— Да, это уж точно, — опять сказал Маленький Бенгт.

Важный и даровитый пробст Фрюкселль побагровел.

— Ты помолчи, Бенгт, когда я говорю, — сказал он.

— Да, само собой, — отвечал старик. — Я ведь не перечу вам,

пробст. Все, об чем вы толкуете, чистая правда.

Пробст побагровел еще сильнее. Снова откашлялся и попробовал начать еще раз:

— Ты, Бенгт, был хорошим и преданным слугою, но и хозяев имел добрых.

Старик, однако, пришел от услышанного в такой восторг, что смолчать никак не мог:

— Правдивые слова, пробст, ох правдивые. Сплошь мужчины хоть куда — и Веннервик, и писарь полковой, и нынешний барин, Эрик Густав.

Он протянул руку и погладил поручика Лагерлёфа по плечу. А сам прямо-таки сиял от счастья.

Пробст опять возвысил голос:

— Помолчи, Бенгт, когда я говорю.

— Ясное дело, — отозвался старик, — ваша правда, пробст. Все ваши слова, как есть, да Господу в уши.

Тут пробст поневоле рассмеялся:

— Ну что с тобой поделаешь, Бенгт. Ладно, обойдешься без речи. Вот тебе медаль, носи на здоровье многие годы.

С этими словами он шагнул к старику и положил медаль на его воскресную рубаху.

Позднее, за обедом в Морбакке, пробст выглядел слегка задумчиво.

— Никогда прежде не бывало, чтобы я сбивался, произнося речь, — сказал он. — Впрочем, надобно, наверно, и такое в жизни изведать.

Денежный сундучок

Маленький Бенгт в свой черед остался очень доволен пробстовой речью. Слова, что он был хорошим и преданным слугою, и медаль, и приход пробста в людскую, и все почести возымели благотворное воздействие: и ломота, и прострел вмиг отпустили. Во второй половине дня он уже сидел в постели, снова и снова рассказывая всем желающим о великом событии, о том, как он спас денежный сундучок полкового писаря.

Однажды зимой они с полковым писарем поехали собирать военный налог. Закончили дела в восточных уездах и намеревались заняться западными, но прежде полковой писарь хотел ненадолго заехать домой, потому что соскучился по жене и детям.

Маленькому Бенгту он, конечно, так не говорил. Ссылался на то, что коню нужно день-другой отдохнуть да и сундучок с провизией опустел, надобно его наполнить. Вдобавок денежный сундучок битком набит, и, прежде чем продолжать поездку, следует его опорожнить и отправить деньги в Карлстад.

Но в тот день, когда они поворотили домой, разбушевалась ужасная непогода, все дороги замело, конь мог идти не иначе как шагом. Уже стемнело, когда возле Ульсетера они пересекли реку Кларэльвен, а чуть позже, проезжая мимо поместья Нуршё, полковой писарь обронил, что надо бы завернуть туда и попроситься на ночлег. Однако, как уже говорилось, он соскучился по дому, а до Морбакки оставалось всего-то две мили, вот и решили они, полковой писарь и Маленький Бенгт, что, коли и придется им пробыть в пути до десяти или даже до одиннадцати, все ж таки лучше заночевать в своей постели.

Очутившись в густом лесу между Нуршё и Сандвикеном, они обнаружили, что дорога совершенно непроезжая, сани идут с таким трудом, что Гнедко вконец выбился из сил. Останавливался на каждом шагу, и ни кнутом, ни добрым словом взбодрить его было невозможно.

— Плохи наши дела, Бенгт, — сказал полковой писарь. — Нет ли тут поблизости какого-нибудь лесного хуторка?

— А ведь верно, барин. Есть недалече хуторок. Только для вас, барин, место это не годится.

— Я понимаю, что у тебя на уме, Бенгт, — отвечал полковой писарь. — Говорят, это место — пристанище мошенников да бродяг, и люди порядочные, как мне известно, остерегаются там останавливаться. Но, по-твоему, у нас есть другой выход? Мы три часа потратили, чтобы от Нуршё досюда доехать, а конь уже

обессилел. Надобно поставить его под крышу, пусть отдохнет.

— Что ж, воля ваша, барин, поступайте как знаете.

Услышав такие слова, полковой писарь догадался, что у работника вправду есть весьма веские причины не заезжать на этот хутор, и решил сделать еще одну попытку продолжить путь.

Оба они вылезли из саней и принялись протаптывать дорогу коню, который медленно поплелся за ними. Работа была каторжная. Маленький Бенгт, конечно, привык к тяжкому труду, а вот полковой писарь, в больших дорожных сапогах выше колен, в волчьей шубе да при кушаке, быстро запыхался.

— Нет, Бенгт, так не пойдет, — сказал он, когда они очутились примерно напротив хутора. — Не ровен час, я вовсе без сил останусь, как Гнедко. Ступай, попроси ночлега.

Делать нечего, пришлось Маленькому Бенгту поступить, как велено. Хотя сам он думал, что лучше уж заночевать прямо тут, в санях, нежели останавливаться в этаком воровском гнезде, да еще и с казенными деньгами. Ясно ведь, кроме злосчастья да беды, ждать нечего.

Он вошел в дом — хозяева тихо-мирно сидели у печи. И никак не скажешь, что рады были принять проезжающих. Чем только не отговаривались. Мол, и не топлено в комнате для проезжающих, и кровати да постельного белья под стать благородному господину не найдется.

Однако Маленький Бенгт все ж таки их уломал. Хозяйка принесла дров, затопила в комнате. Муж ее взял лопату и пособил Маленькому Бенгту раскидать снег, чтобы конь с санями сумел дойти до сарая.

Вернувшись к саням, Маленький Бенгт увидал, что полковой писарь спит, усталость его сразила.

— Не больно-то хорошо он стережет казенные денежки, — ухмыльнулся хуторянин.

— Но покамест не случалось, чтобы он хоть гроша казенного недосчитался, — огрызнулся Маленький Бенгт.

Останавливаясь где-нибудь на ночлег, полковой писарь и Маленький Бенгт неизменно следовали определенному порядку: хозяин заносил в дом денежный сундучок, а Бенгт шел следом, с припасами.

Ну так вот, Маленький Бенгт увидал, до чего барин устал, и потому, когда они подъехали к убогой сараюшке, чтобы устроить там коня, сказал:

— Подите, барин, вам надобно прилечь! А я за вами следом, занесу в дом оба сундучка.

— О нет, занести надобно только один, — сказал полковой писарь.

Он имел в виду, что прихватить из саней нужно только денежный сундучок, так как второй, с припасами, давно опустел. Но Маленький Бенгт его не понял.

Он выпряг Гнедка, завел его в сарай. А когда вернулся, полковой писарь уже ушел в дом, и хуторянин тоже куда-то подевался. Денежного сундучка в санях не оказалось, да ведь так и должно быть.

Когда Маленький Бенгт вошел в крохотную комнатушку, полковой писарь сидел у печи. Он слышал, как работник поставил возле двери сундучок, но от усталости недостало сил повернуть голову и посмотреть.

— Запри-ка дверь, Бенгт, и вынь ключ! — сказал он.

— Не больно много проку тащить в дом пустой сундучок, — заметил Маленький Бенгт, — припасы-то у нас вышли.

— Совершенно с тобой согласен, — отозвался полковой писарь, — думаю, однако ж, мы и без ужина мигом уснем.

С этими словами он, как был в шубе и сапогах, во весь рост вытянулся на лавке. Подложил под голову парочку поленьев и мгновенно заснул.

Спал он обыкновенно до четырех или до пяти утра, а тут проснулся уже около двух, отдохнувший и бодрый.

— Живо вставай, Бенгт! — вскричал он. — Пора нам с Божией помощью отправляться в дорогу, аккурат поспеем к завтраку до Морбакки добраться.

Маленький Бенгт сей же час поднялся. Свечи у них не было, но зимою ночи не кромешно-темные. Кое-как из комнатушки выбраться можно.

— Бери сундучок, Бенгт, и иди запрягать, — сказал полковой писарь, — а я зайду в горницу, расплачусь за ночлег.

В скором времени снарядились — и в путь. Метель улеглась, и, хотя дорога была пока не накатана, ехали они довольно быстро, конь-то отдохнул.

— Все же не так глупо, что мы там заночевали, — заметил полковой писарь.

— Обошлось лучше, чем я думал, — сказал Маленький Бенгт. — Правда, мне цельную ночь какие-то страсти мерещились, будто шум да грохот. Вроде у хозяина тамошнего стучали-громыхали. И ей-ей, не знаю, на самом ли деле они там молотили или приснилось мне.

— Тебе, поди, снилось, что они украли у меня денежный сундучок, — сказал полковой писарь.

— А к слову, где у вас сундучок-то? — всполошился работник и принялся шарить под полостью.

— Сундучок? — переспросил полковой писарь. — Так ведь ты

его выносил.

— Я? Я только сундучок для припасов вынес.

— Но я же сказал тебе вчера, чтобы ты забрал в дом только денежный сундучок, а другой оставил в санях!

Пожалуй, полковой писарь Лагерлёф в жизни не переживал ничего страшнее той минуты, когда понял, что по недоразумению денежный сундучок из саней в дом не занесли. Без сомнения, его украл хуторянин. Но куда он его девал? Сумел ли открыть? Сундучок-то был изготовлен специально для сбора налогов, снабжен хитроумным замком и прочно окован, хотя ворюга, может, и сумел его взломать.

Оставив коня и сани на дороге, оба поспешили обратно.

Когда они ворвались в горницу, хозяин с женой и еще четверо каких-то людей сидели у печи. Никто не выказал ни малейшего удивления, однако Маленький Бенгт с первого взгляда распознал, что вновь прибывшие — самые опасные прощелыги в округе.

— Я же говорила, не проехать вам по дороге, пока снеговой плуг ее не расчистит, — сказала женщина.

— Да нет, по дороге-то мы проедем, — отвечал полковой писарь, — только вот мой денежный сундучок остался в вашем дому, а должно ему быть при мне.

— Ох, возможно ли, что вы уехали без денежного сундучка? Он, поди, так и стоит в той комнатушке. После вас туда никто не захаживал.

— Сундучок мы не забыли, — решительно произнес полковой писарь, — ну-ка, живо тащите его сюда! Знаете ведь, что ждет того, кто крадет казенные деньги!

— Да нешто можно спрятать тут большой денежный сундучок? — воскликнула женщина. — Сами видите, какая у нас комната. Милости прошу, обыскивайте хоть весь дом.

Именно этим Маленький Бенгт как раз и занимался. Все углы обшарил — нет сундучка, и всё тут!

— Коли по доброй воле не отдадите, — сказал полковой писарь, — придется работнику моему остаться здесь на страже. Ни один из вас из дому не выйдет, пока я не вернусь с ленсманом.[6]

— Он останется нас сторожить! — По голосу явно чувствовалось, что женщина едва сдерживает смех. И по правде говоря, невелика надежда, что Маленький Бенгт в одиночку сумеет справиться с шестерыми, пока полковой писарь съездит за ленсманом.

А Маленькому Бенгту все это время не давала покоя одна мысль. Он слышал, как в печи трещит огонь, но не видел и не чуял никаких признаков того, что хозяйка что-то печет.

Не говоря ни слова, он шмыгнул к печке и открыл заслонку.

— Барин, идите сюда, гляньте, какой хлебушек они тут пекут! — крикнул Маленький Бенгт полковому писарю.

В печи, среди горящих поленьев, стоял денежный сундучок.

Муж с женой хотели было броситься на Маленького Бенгта, но полкового писаря Лагерлёфа Господь силушкой не обделил. Он отшвырнул обоих, а четверо прощелыг, которые тоже зашевелились, смекнули, что с полковым писарем шутки плохи, и притихли.

Маленький Бенгт схватил кочергу и рывком выдернул сундучок из печи. Не терпелось ему установить, насколько сундучок пострадал, и, осматривая его, он все пальцы себе обжег.

— По крайней мере, открыть крышку они не сумели! — воскликнул он.

И не ошибся. Добротный дубовый сундучок выдержал. Воры всю ночь напролет пилили-долбили, но ни хитроумный замок открыть не смогли, ни стальную оковку ободрать. В конце концов, прибегли к последнему средству: сунули сундучок в печку, да только Маленький Бенгт мигом раскусил их затею. Обуглился лишь один уголок.

Свайная клеть

Усадебные старики в один голос твердили, что после каменных домов самая старая постройка — давняя свайная клеть. Правда, она не относилась к временам первопоселенца, лет на сто позже появилась, когда Морбакка уже стала настоящей крестьянской усадьбой.

Тогдашние хозяева, видно, спешили соорудить свайную клеть, потому что такую полагалось иметь во всякой маломальски значительной усадьбе.

Так или иначе, постройка была самая что ни на есть простая. Сваи совсем низкие, украшений никаких. Дверь тоже низкая — войти можно, только пригнувшись. А вот замок и ключ непомерно большие. Вполне сгодились бы для тюрьмы.

Окон в клети не было, только маленькие отверстия, которые закрывали ставнями. Летом, когда ставни не закрывали, в отверстия вставляли что-то вроде сетки от мух, сделанной из тонких лучинок. Переплетали их в шахматном порядке и этой плетенкой закрывали отверстие. Света внутрь попадало немного, но не сказать, чтобы там царил кромешный мрак.

Состояла свайная клеть из двух этажей, причем верхний был оборудован куда тщательнее, чем нижний. Оно и понятно: наверху тогдашние хозяева хранили самое ценное свое достояние.

По-видимому, еще при поручике Лагерлёфе свайная клеть была точь-в-точь такова, какой ее построили. Разве что крышу обновили, а в остальном ничего больше не трогали. Лестница и та осталась прежней, хотя меж частыми ступеньками ногу толком не просунешь, да и оконца застеклить никто не удосужился.

Осенью там было великолепно. На первом этаже стояли лари с мукою свежего помола. Рядом — два вместительных чана, до краев набитые говядиной и свининой в рассоле. Подле них — ушаты и деревянные ведра с говяжьими, свиными и вермландскими картофельными колбасами и прочие заготовки, сделанные в пору осеннего забоя. В дальнем углу — большая бочка с сельдью, кадушки с соленым сигом и с ряпушкой, а нередко и бочоночек с лососиной; кроме того, лохани с солеными бобами и шпинатом да бочонки с желтым и зеленым горохом.

На верхнем этаже хранились большие кадки со сливочным маслом, сбитым за лето и припрятанным на зиму. Длинные ряды сыров лежали на полках над оконцами, с потолка свисали копченые окорока, которым уже сравнялся год. В огромном, как перина, мешке сберегали домашнего сбора хмель, в другом таком же — высоложенный ячмень. Словом, здесь были собраны запасы

провизии на целый год.

Распоряжалась свайной клетью экономка. Тут были ее владения, и ключ от клети редко попадал в другие руки. Мамзель Ловисе Лагерлёф разрешалось хозяйничать в домовом чулане и в молочной, но в клеть экономка наведывалась самолично.

Всей стряпней опять же заправляла экономка. Приготовлением сиропов и варенья да мелкой выпечкой могла заниматься и мамзель Ловиса, но если надобно было зажарить мясо, сварить сыр или испечь хрустящие хлебцы, то руководила непременно старая экономка.

Морбаккские дети питали к ней огромную любовь и безграничное доверие. Считали ее чуть ли не самой важной персоной в усадьбе.

Видели ведь, что приезжие родичи первым долгом шли на кухню, здоровались с экономкой, и если в семье что-нибудь случалось, то поручик Лагерлёф призывал ее и рассказывал об этом, и, когда Даниэль с Юханом после Нового года и осенью уезжали в школу, им всегда велели попрощаться с экономкой.

Слышали дети и как все посторонние твердили, что г-же Лагерлёф должно почитать себя счастливицей, раз на кухне у нее такая преданная помощница. Под ее надзором любая работа всегда исполнялась чин чином.

Вдобавок нигде не отведаешь такого, как в Морбакке, рождественского пива, и такого хрустящего хлебца, и такой вкусной еды, а это заслуга старой экономки, тут все были единодушны.

Поэтому не удивительно, что детишки считали ее главной. Они твердо верили, что, не будь экономки, все в Морбакке шло бы шиворот-навыворот.

Но однажды маленькая Анна Лагерлёф разузнала секрет, который по-настоящему ее напугал. Держать его при себе она никак не могла, вот и поделилась с сестренкой Сельмой: она, мол, слыхала, как служанки говорили, что экономка замужем, что у нее есть муж.

Описать невозможно, как обе девочки встревожились. Коли экономка замужем и имеет мужа, нет никакой уверенности, что она останется в Морбакке.

Что же тогда будет с маменькой, которой она сейчас так помогает? Что будет с ними самими, которых она всегда угощает чем-нибудь вкусненьким, стоит им появиться на кухне? И что будет со всей усадьбою?

Да, совершенно необходимо выяснить, как обстоит на самом деле. И они решили спросить Майю, новую няньку, возможно ли, чтобы экономка была замужем.

Разумеется, нянька Майя прекрасно знала эту историю. Слышала ее от своей матери, которая служила в Морбакке аккурат в то время, когда все произошло.

Оказывается, это не выдумки, а чистая правда, хотя разговоров об экономкином замужестве дети никогда прежде не слыхали. И муж ее жив, он резчик по дереву, живет в Карлстаде. Стало быть, дело обстоит не очень-то хорошо, раз он не умер.

А случилось все вот как: когда поручик и его брат стали ходить в карлстадскую школу, старая г-жа Лагерлёф послала с ними свою верную экономку, Майю Персдоттер, чтобы та присматривала за мальчиками и готовила им еду. В городе она и свела знакомство с резчиком, и тот к ней посватался.

Мать няньки Майи рассказывала, что той весною, когда экономка воротилась домой и объявила, что собирается замуж, старая хозяйка огорчилась и испугалась, так как понимала, что потеряет величайшее свое сокровище. “И каков же твой жених, Майя? — спросила она. — Ты точно знаешь, что он хороший человек?”

На сей счет экономка ничуть не сомневалась. Он резчик по дереву, собственную мастерскую имеет и собственную усадьбу. В доме у него все в полном порядке, можно хоть сейчас под венец, лучшего мужа ей не найти.

“Но разве понравится тебе круглый год сидеть в четырех стенах на голой городской улице? — воскликнула старая г-жа Лагерлёф. — Ты ведь всю жизнь на природе жила”.

Экономка и тут опасений не имела. Все у нее будет хорошо. Жизнь ее ждет легкая, ведь не понадобится ни печь, ни пиво варить, только что сходить на рынок да купить все нужное в хозяйстве.

Слыша такие речи, старая г-жа Лагерлёф поняла, что экономке загорелось замуж и, хочешь не хочешь, надо готовиться к свадьбе. Играли свадьбу в Морбакке, жених приехал туда, с виду человек разумный и дельный, а на следующий день он с женою уехал в Карлстад.

Однажды вечером, спустя две недели, а может, и меньше, г-жа Лагерлёф взяла ключ от свайной клети, решила отрезать к ужину ветчины. А всякий раз, когда брала ключ от клети, она неизменно думала о Майе Персдоттер: как она там? “Если бы я не послала ее в Карлстад, она бы с резчиком не познакомилась, — думала г-жа Лагерлёф, — и я бы сохранила у себя добрую помощницу, и не пришлось бы мне, как теперь, по двадцать раз на дню бегать в клеть”.

Она уже собралась зайти внутрь, но ненароком бросила взгляд на аллею и на дорогу, ведь в ту пору обзор ничто не

заслоняло. И замерла, потому что под березами шагал человек и был он так похож на Майю Персдоттер, ее верную помощницу и подругу с юных лет, что она даже ключ уронила.

Чем ближе подходила путница, тем меньше было сомнений. А когда она остановилась перед хозяйкой и сказала: “Добрый вечер, барыня!” — г-жа Лагерлёф волей-неволей поверила своим глазам.

“Неужто ты, Майя Персдоттер? — воскликнула она. — Что ты здесь делаешь? Муж нехорош оказался?”

“Он только и знай, что пьянствует, — отвечала экономка. — Дня не проходило, чтоб не напился. Чистый спирт хлещет, который вообще-то нужен ему для работы. Не-ет, с этаким пропойцей я не выдержу”.

“Ты же собиралась ходить на рынок, покупать все необходимое и поменьше работать”, — заметила старая г-жа Лагерлёф.

“Я буду работать на вас, хозяйка, на руках стану вас носить, только позвольте мне вернуться, — сказала экономка. — Я день и ночь по Морбакке тосковала”.

“Тогда заходи, поговорим с полковым писарем! — вскричала старая хозяйка, от радости она чуть не прослезилась и добавила: — И с Божией помощью мы никогда больше не расстанемся”.

Так и вышло. Экономка осталась в Морбакке. Муж ее, видно, понял, что нечего и пытаться вернуть ее. Не приезжал за нею, обратно не звал. Обручальное кольцо она сняла и спрятала в сундук с одеждой, а об истории этой никто больше не вспоминал.

Маленьким дочкам поручика Лагерлёфа не мешало бы и успокоиться, когда они об этом услышали, но они еще долго потом боялись. Резчик-то был жив, а значит, мог, в конце концов, заявиться в Морбакку, с требованием вернуть ему жену. И, стоя поблизости от клети, где было хорошо видно дорогу, они все время ждали, что заметят его. Нянька-то Майя говорила, что, если он потребует вернуть жену, той придется подчиниться.

Они понятия не имели, сколько экономке лет. Сама она запамятовала, в каком году родилась, а в церковной книге навряд ли записано правильно. Наверняка ей за семьдесят, но резчик все равно может забрать ее к себе, ведь она человек замечательный.

И как же тогда будет с Морбаккой?

Комнатушка в людской

В старину вся усадебная челядь получала одежду от хозяина, и можно представить себе, что работы у женщин круглый год было полным-полно. Долгими темными зимними вечерами и долгими темными зимними утрами приходилось им сидеть за прялкой, прясть уток да основу, а вот ткать начинали только весною, когда дни становились светлыми, — в полумраке такую работу не сделаешь.

Чтобы к лету, когда в усадьбу наведывался приходский портной, изготовить сермягу, и холст, и бумажную материю, и шерстяную потоньше, надобно было торопиться с тканьем. Но коли постав стоит на кухне, особо не поторопишься. Нет, ткачихам лучше сидеть одним, в помещении, где никто им мешать не будет.

Вот почему раньше во всех приличных усадьбах устраивали отдельную ткацкую мастерскую, и в Морбакке тоже. Еще во времена старых пасторов. Над людской соорудили второй этаж, состоявший из двух низких помещений с изразцовыми печками из кирпича, если можно так выразиться, со стенами, обмазанными глиной, и дощатым потолком. В дальней комнате жил староста, а в передней стояли возле окон два ткацких постава.

Ткацкая мастерская работала и при поручике Лагерлёфе, хотя жалованье челяди платили уже деньгами, а не одеждой. Г-жа Лагерлёф очень любила тканье и изготовляла полотенца, постельное белье, скатерти, половики, шторы, обивочную ткань и материал на платье — словом, все, что требовалось в хозяйстве. Целое лето ткацкие станки у нее работали без простоев.

Но осенью поставы убирали, на их место ставили длинный низкий стол, весь в пятнах смолы, и круглые трехногие стулья из людской. Значит, в скором времени ожидали приходского сапожника, солдата Свенса.

И действительно, немного спустя они приходили, Свенс и подмастерья его, с большими ранцами, полными подметок, молотков, колодок, дратвы, щеток, подковок, шнурков и деревянных гвоздей — все это высыпали на низенький стол.

Сапожник был долговязый, тощий, черноволосый, с окладистой черной бородой и на первый взгляд вправду производил впечатление человека сурового и грозного, настоящего вояки. Однако ж говорил он робко, боязливо. Маленькие глазки смотрели мягко, а во всей осанке сквозила легкая неуверенность. Так что в конечном счете он, пожалуй, был не столь уж и опасен.

С появлением сапожника маленьких детишек поручика Лагерлёфа охватывал невероятный восторг. Едва лишь выдавалась свободная минутка, они мчались вверх по шаткой лестнице в ткацкую мастерскую. Не столько затем, чтобы поболтать, ведь солдат Свенс был человек работящий и молчаливый, сколько затем, чтобы посмотреть, как там работают, увидеть, как шьют башмак — с самого начала, когда кожу натягивают на колодку, и до конца, когда вырезают ремешок.

Сапожник, как правило, сидел, уныло повесив голову, однако радостно оживлялся, услыхав на лестнице шаги поручика Лагерлёфа.

Когда-то они с поручиком Лагерлёфом служили в одном полку и, потолковав немного о башмаках, коже для подметок и сапожной ваксе, принимались вспоминать давние истории времен Тросснесских лагерей. Когда оба изрядно входили в раж, поручик иной раз умел уговорить сапожника затянуть старую солдатскую песню, не похожую на другие военные песни, потому что начиналась она так: “Мы, шведские герои, не любим воевать”. Солдаты сложили ее в 1848 году на пути в Данию, в том походе, который прозвали “бутербродной войной”.[7]

Была у сапожника Свенса одна особенность: очень он любил рассказывать байки про портного Лагера, который при полковом писаре много раз портняжил в этой самой комнате и был столь же боек и горазд на проказы, сколь Свенс хмур и меланхоличен.

— Вы небось слыхали, поручик, как портной Лагер сподобился этакого имени? — как-то спросил он.

Поручик, конечно, знал эту историю не хуже чем “Отче наш”, однако в ответ сказал:

— Может, и слыхал, но ты, Свенс, поди, расскажешь по-своему.

— Ну, стало быть, Лагер, как и я, был простым солдатом, только до меня. В полку говорили, что сперва его звали Ларс Андерссон. А потом пришел солдатам приказ выбрать себе новые имена, потому как Андерссонов да Юханссонов оказалось непомерно много.

И вот однажды на сборах в Тросснесе рядовых одного за другим стали вызывать к полковому писарю Лагерлёфу, к батюшке вашему, он спрашивал каждого, как тот хочет прозываться, и заносил новое имя в списки. Ларс Андерссон тоже явился вместе с остальными, а полковой писарь, само собой, знал, какой он проказник, ведь портной из году в год неделями сидел тут, в Морбакке, всю усадьбу обшивал. И притом бесперечь шутки шутил да веселился. Кого хочешь, передразнит из любой окрестной усадьбы, любые вещицы у него вмиг исчезали, ровно у

фокусника на базаре, а тросточкой орудовал так, что на слух ни дать ни взять будто цельный полк марширует. Хотя, право слово, мог и бед натворить, потому как измышлял всякие-разные байки и через это учинял свары промеж людей в усадьбах.

“Ну, Ларс Андерссон, как ты желаешь прозываться?” — спросил полковой писарь, приняв серьезнейший вид, чтобы тот и думать не смел о проказах.

“Боже милостивый! — воскликнул портной. — Я что же, могу назвать себя как заблагорассудится?” — Он наморщил лоб, прикидываясь, будто изо всех сил старается подыскать имечко.

“Да, Ларс Андерссон, можешь”, — отвечал полковой писарь. Но, зная портного, добавил, что имя должно быть порядочное, почтенное, шуточкам да забавам тут места нету.

Помните, поручик, как выглядел ваш батюшка? По натуре он был человек добрый, обходительный, однако ж многие при виде его изрядно робели — ростом-то высоченный, грузный, брови черные, кустистые.

Но портной даже не думал робеть.

“Что ж, я хочу прозываться Лагерлёф, — сказал он, — имя порядочное и почтенное. Во всем Вермланде лучше не сыскать”.

Услыхав, что проказник надумал прозываться Лагерлёфом, полковой писарь аж побагровел.

“Нет, так не пойдет, — сказал он, — нельзя, чтобы в полку были двое с одной фамилией”.

“Да ведь по меньшей мере трое носят фамилию Уггла и четверо — Лильехёк, — отвечал портной, — и навряд ли кто спутает меня с вами, полковой писарь”.

“Выходит, Ларс Андерссон, ты не понимаешь, что этак не годится?” — спросил полковой писарь.

“Я бы не выбрал это имя, кабы вы позволили мне назвать себя так, как я хочу. — Портной постарался принять самый что ни на есть серьезный и скромный вид. — Знаю ведь, что коли дали вы кому обещание, то нипочем его не нарушите, это уж точно”.

Оба замолчали, полковой писарь Лагерлёф прикидывал, как бы вывернуться из затруднения, не хотелось ему, чтоб весь полк над ним потешался, да и вообще, незачем этакому проказнику, как портной, прозываться Лагерлёфом.

“Послушай, Ларс, — сказал он, — тут в полку, может, еще куда ни шло, чтобы мы с тобой носили одно имя, но дома, в Морбакке, этак не годится, пойми. И коли ты упорно настаиваешь прозываться Лагерлёфом, приготовься к тому, что дорога в Морбакку тебе навсегда заказана, не шить тебе там больше”.

Вот когда портной испужался, потому как недели, когда шил в Морбакке, он считал лучшими в году. Нигде его не встречали

так радушно, как в Морбакке, нигде народ так не любил его байки да затеи.

“Может, обойдешься фамилией Лагер?” — продолжал полковой писарь, заметивши, что тот вроде как засомневался.

Хочешь не хочешь, согласился портной на Лагера и прозывался так до конца своих дней.

Барышня

Речь пойдет об одной старой деве. Несколько лет она служила в Филипстаде у родителей г-жи Лагерлёф, когда та была еще ребенком, а теперь, на старости лет, поселилась в Эмтервике. И раз-другой в году приезжала в Морбакку погостить.

Рослая, видная, с седыми волосами. Строгий рот, решительный нос, натура серьезная. Она обожала священников и проповедников, посещала молитвенные собрания и швейные кружки. Затевать с нею разговоры о танцах, о романах, о любви было непозволительно, она этого терпеть не могла.

Опять-таки в ее присутствии не разрешалось дурно отзываться о людях или заводить речь о нарядах, да и про греховные события в широком мире она тоже слышать не желала.

Нелегкая задача — найти, о чем бы с нею потолковать. Собственно, весь выбор предметов для беседы сводился к кулинарии да к погоде. Темы, конечно, благодатные, хватало их надолго, однако в конце концов и они иссякали, потому что словоохотливостью Барышня не отличалась, на все вопросы давала короткие, взвешенные ответы. В Морбакке все знали, что есть один способ вызвать Барышню на разговор, но тут имелись свои опасности. Некогда она служила экономкой в большой усадьбе, у пробста, у которого было двадцать человек детей, причем все они благополучно выросли. К этому семейству Барышня никогда интереса не теряла и с большою охотой о нем говорила.

Однажды под вечер все сидели в морбаккской столовой зале, пили кофе. На обеденном столе стоял кофейный поднос с чашками, блюдцами, сахарницей, сливочником и сухарницей, а рядом — железный кофейник, ведь в фарфоровый кофе обычно переливали, только когда приходили особо важные гости.

Каждый подходил и сам наливал себе кофейку. И брал не больше одного кусочка сахару, одного пшеничного и одного ржаного сухарика. Если же на стол выставляли крендели, коврижки или пирожки, все тоже брали по одной штучке. Наполнив чашки, все рассаживались по своим местам и приступали к кофепитию. Г-жа Луиза Лагерлёф сидела в одном углу дивана, мамзель Ловиса Лагерлёф — в другом, а поручик Лагерлёф — в кресле-качалке, которое принадлежало только ему и которое никто другой занимать не смел. Г-н Тюберг, Юханов домашний учитель, помещался в плетеном кресле, а между этими четырьмя стоял круглый ольховый столик. Юхан Лагерлёф сидел за столиком у окна, за другим таким же устраивалась Анна, а за

сложенным ломберным столом в углу возле изразцовой печки сидели младшенькие — Сельма и Герда, правда, считалось, что им еще рановато пить кофе, поэтому обе довольствовались молоком.

В тот день в кофепитии участвовала и приехавшая погостить Барышня. Она расположилась на черном плетеном стуле из тех, что стояли вокруг обеденного стола. И сидела почти посреди комнаты, так что все видели ее и могли с нею побеседовать.

Попивая кофе, общество обсуждало безопасные темы, а когда исчерпало их, поручик Лагерлёф, не терпевший перерывов в беседе, принялся расспрашивать Барышню о миссии и проповедниках, о швейных кружках и молитвенных собраниях.

Поскольку же все знали, каков он и какова она, было ясно, что добром это не кончится.

Г-жа Лагерлёф попыталась направить их разговор в другое русло, мамзель Ловиса легонько подтолкнула брата локтем, а г-н Тюберг обратил внимание собравшихся на то, что кофе нынче удался прямо-таки на славу. Но поручик и Барышня будто и не слышали и уже начали горячиться.

Г-жа Лагерлёф хорошо знала, что если Барышню обидит какое-нибудь замечание поручика по адресу “миссии”, то ее здесь по меньшей мере целый год не увидят. Но ведь у нее заведено так, что раз в полгода ей необходимо приехать в Морбакку, подкормиться немножко и получить в гостинец добрый запас муки и иной снеди.

В тревоге своей г-жа Лагерлёф ничего лучше не придумала, кроме как спросить Барышню, что сталось со всеми двадцатью пробстовыми детьми.

Сию же минуту та позабыла и о Внутренней, и о Внешней миссии, и о проповедниках, и о малолетних язычниках, и даже о безбожном поручике Лагерлёфе. Просияла, будто солнце, и немедля принялась рассказывать:

— Это было самое удивительное время в моей жизни. Большую стирку в той усадьбе приходилось устраивать каждые две недели, и лохани для стирки вечно стояли полнехоньки. Никогда не поешь спокойно, потому как с обеих сторон по ребенку, которого надобно накормить. А ежели постельное белье шили, полотно штуками закупали. Сапожник, портной и белошвейки по другим усадьбам прихода вообще ездить не успевали, у пробста всегда хватало работы.

— Но барышня Анна, голубушка, как же пробст с женою сумели поднять этакую прорву детишек? — спросила г-жа Лагерлёф, чтобы хорошенько ее раззадорить.

— Сумели, хозяюшка, и хорошо воспитали, все они стали

превосходными людьми, — отвечала Барышня. — Лучше просто не бывает. Взять хотя бы старшую дочку Еву, уж как она наловчилась шить распашонки да смотреть за малышами! И замуж вышла в семнадцать лет, за младшего священника Янссона из Шиланды, а когда помер он — за пробста из Вестеръётланда. Детишек у нее было много, но после первой своей свадьбы она в родительский дом больше не приезжала.

— Должно быть, считала, что там и без нее народу хватает, — сухо заметил поручик Лагерлёф.

Девчушки в уголке возле печи тихонько прыснули, но Барышня наградила их таким суровым взглядом, что обе вмиг умолкли.

— Следующий по старшинству — мальчонка по имени Адам, — продолжала Барышня. — Ужас до чего был горластый, хуже я не видала. А когда сделался пастором, служил в церкви так замечательно, что назначили его придворным проповедником. За него любая невеста пошла бы, только он жениться не захотел, всю жизнь холостяком прожил, не знаю уж, по какой причине.

— Скажите пожалуйста! — вставил г-н Тюберг, и девчушки в углу опять захихикали, а Барышня так глянула на них и на г-на Тюберга, что все трое испуганно притихли.

— Третий по возрасту — опять же мальчонка, которого назвали Ноем, — сказала Барышня. — Так вот он навострился ловить рыбу, семью пропитанием обеспечивать, за что мы с его маменькой очень его благодарили. Ной стал священником в Халланде и всю жизнь каждый год присылал родителям большущую бочку соленой лососины.

— Кстати, о лососине… — начал было поручик Лагерлёф, он хотел сказать, что пора бы доставить в дом новый бочонок лососины, но разве Барышню остановишь?

— За Ноем идет Сим, — продолжала она, — этот стал отменным охотником, под стать брату-рыболову. Видели бы вы, сколько глухарей да зайцев он приносил домой. Тоже на священника выучился и получил большой приход на юге, в Сконе. И каждую зиму присылал домой косулю, которую подстрелил сам.

Покончив с Симом, она перевела дух и огляделась вокруг. Но все покорно молчали, никто и не думал ее перебивать.

— После трех мальчиков родилась девочка, которую назвали Сарой, и я готова поклясться перед Богом и людьми, что в жизни не встречала этакого таланта по части засолки огурцов, приготовления варенья и сиропов. Только вот замуж она не вышла. Переехала в Стокгольм и вела хозяйство брата, того, что

заделался придворным проповедником.

Следующая тоже девочка, — продолжала Барышня, — Ревекка. И признаться, я понимала ее куда хуже, чем других детей. С этаким светлым умом впору в священники податься, как братья, а вдобавок она стихи сочиняла. Народ сказывал, во всем краю никто так ловко не сочиняет колыбельные. Но замуж вышла, правда, всего-навсего за школьного учителя.

Тут рассказ прервали, горничная принесла свежесваренный кофе, и все потянулись за добавкой.

— Я вот думаю, не было ли среди детей такого, что умел бы сварить порядочную чашку кофе, — сказал поручик Лагерлёф.

— Вы опередили меня, поручик, — отозвалась Барышня. — Возможно, это покажется странным, однако ж самый большой талант по части стряпни был у четвертого мальчонки, Исака. Уж до того ловко и соус сбивал, и мясо жарил, что лучшего помощника у плиты подлинно не сыскать.

— А лучше всего небось кашу для малышей варил, — вставил г-н Тюберг.

По всей комнате, не только в уголке у печки, послышались смешки, одна г-жа Лагерлёф осталась серьезна.

— Поразительная у вас память, барышня Анна, сколько вы всего помните, — сказала она, чтобы у старушенции не испортилось настроение.

Барышня вообще-то отличалась обидчивостью, но не тогда, когда удавалось поговорить о любимых ею пробстовых отпрысках. Тут ее ничем было не пронять. Хотя от Исака г-н Тюберг их все же избавил. Они так и не услышали, на что он употребил свои таланты.

— Следующие двое — близнецы, и назвали их Иаковом и Исавом, — сказала Барышня. — Похожи были один на другого как две капли воды, я их вовсе не различала. В жизни не видывала мальчуганов, которые этак ловко прыгали, скакали верхом и бегали на коньках, но они тоже стали священниками.

— А я думал, в канатоходцы подались, — проворчал поручик Лагерлёф.

— Нет, они стали священниками, — невозмутимо повторила Барышня. — Исав отправился в Емтланд, пришлось ему по горам лазить, Иаков попал в Бохуслен, мотался там на лодках да на кораблях. Обоим достались приходы под стать талантам, оба могли использовать дарованные Господом способности, как и их братья-сестры.

— Ну а как вышло с Иосифом? — полюбопытствовал поручик.

— Прежде идут две девочки, поручик, Рахиль и Лия, — по-прежнему невозмутимо отвечала Барышня. — Эти садовничали на

славу, одна сажала да растила, другая сорняки выпалывала. Епископ, когда приезжал с проверкой, твердил, что в жизни не едал такого вкусного гороха и такой земляники. А это как раз заслуга Рахили да Лии. Обе за фабрикантов вышли. Вот теперь можно и про Иосифа рассказать.

— Он, поди, стал помещиком? — сказал поручик.

— Арендатором стал у отца, — сообщила Барышня, — хорошо заботился и о пашнях, и о коровах, снабжал провизией родителей и братьев-сестер.

— Разве же я думал иначе? — Поручик встал, прошел к двери, где повесил шляпу и трость, и, не говоря более ни слова, вышел вон.

— Тринадцатого звали Давид, — продолжала Барышня. — Этот был трижды женат и от каждой жены имел троих детей. Коли желаете, господа, могу поименно перечислить всех его жен и детей. Хотя, наверно, лучше продолжить про пробстовых отпрысков?

Конечно, все согласились, что это самое благоразумное, однако г-же Лагерлёф подобная перспектива внушила изрядные опасения.

— Схожу-ка я за рукоделием, — сказала она, — так будет удобнее слушать.

По правде говоря, воротилась она с рукоделием не очень скоро.

— Четырнадцатой по порядку была девочка, Дебора.

Услужливая, милая, всегда мне с выпечкой помогала. Замуж не вышла, так и осталась дома. Надобно ведь матери пособить, за младшенькими приглядеть. Со странностями девушка. Иной раз говорила, будто по душе ей католическая вера, потому как не дозволяет она священникам жениться.

В эту минуту возле двери послышался негромкий стук. Г-н Тюберг умудрился тихонько, незаметно прошмыгнуть вон из комнаты, только дверь за ним хлопнула.

— Пятнадцатая — опять девочка, по имени Марта. Красивая, глаз не отвесть, но тоже маленько странная. В семнадцать лет вышла за пробста, которому уже шестьдесят два стукнуло, и ведь затем только, чтобы из дому уехать.

Тут Анна с Юханом встали. Дескать, надо за лампой сходить, темнеет уже. Однако и они воротились нескоро.

— Шестнадцатую звали Марией, — рассказывала Барышня. — Красотой она не отличалась и говорила, что ни священник, ни помещик замуж ее не возьмут, но дома она нипочем не останется. Вот и вышла за крестьянского работника.

Мамзель Ловиса все это время так и сидела в углу дивана.

Вообще-то она спала крепким сном, хотя Барышня ничего не заметила.

— Семнадцатой аккурат восемнадцать стукнуло, когда я распрощалась с пробстовой усадьбой. Она помогала матери писать письма всем братьям-сестрам, ведь в одиночку с этим нипочем не справиться.

Кто-то повернул снаружи дверную ручку, заглянул в щелку. Но сию же минуту дверь затворилась.

— Восемнадцатому только-только минуло пятнадцать, — продолжала Барышня, — а он уже объявил, что уедет в Америку, потому как не в состоянии валандаться с этакой уймой родни. А девятнадцатому и двадцатому, когда я видела их последний раз, было четырнадцать и тринадцать.

Едва она произнесла эти слова, вошли г-жа Лагерлёф с вязанием и Анна с лампой, а мамзель Ловиса пробудилась.

— Спасибо, спасибо, барышня Анна, голубушка! — воскликнула г-жа Лагерлёф. — Никогда нам этого не забыть. Весьма поучительная история и для меня, и для детей.

Брачный венец

Мамзель Ловиса Лагерлёф по традиции наряжала невест. Но приезжали к ней с этой целью не все без разбору, а только дочери самых что ни на есть зажиточных крестьянских семейств. Иногда две или три за год, а то и вовсе не одной.

Прежде, когда в Морбакке жил священник, женщинам из пасторской усадьбы, вероятно, по чину полагалось наряжать невест, в первую очередь тех, которых венчали в церкви. До мамзель Ловисы этим занимались ее маменька, и бабушка, и прабабушка, и прапрабабушка. Обычай сложился давно, она лишь продолжила его как наследница.

В наследство ей достались и все свадебные уборы, собранные в Морбакке за многие годы. В большом старинном поставце она хранила длинные низки стеклянных, коралловых и янтарных бус. Был у нее и целый набор старинных черепаховых гребней, которые выступают над прической аж на четверть локтя, и коллекция твердых картонных ободков, валиков, разрисованных цветами или обтянутых белым шелком, их использовали в ту пору, когда невесты надевали налобник и шапочку. Имелись и высокий брачный венец из картона, с зубчиками, обтянутыми золоченой бумагой и зеленой да розовой тафтой, и венки из искусственных роз, и длинные — не один локоть — ленты из зеленого шелка, расшитые шелковыми розовыми цветами. В том же ящике лежали курчавый налобный шиньон а-ля Дженни Линд, шпильки для волос, украшенные стеклянными подвесками, длинные серьги из фальшивого жемчуга, всевозможные броши, браслеты и латунные обувные пряжки, усыпанные поддельными рубинами, аметистами и сапфирами.

В те времена, когда использовали означенные вещицы, нарядить невесту было задачей ответственной и трудоемкой. Предшественницы мамзель Ловисы порою уже за много дней до свадьбы сидели с иголкой, обшивали яркими шелковыми лентами рукава и юбку свадебного платья. Бывало, оклеивали невестин венец новой золоченой бумагой, мастерили новые бумажные цветы и начищали латунные побрякушки, так что они сверкали как золото.

И хотя вся эта роскошь была подделкой, тем не менее, вполне понятно, что крестьянская невеста в большом высоком венце, окаймленном широкой цветочной гирляндой, с множеством разноцветных бус на шее, в яркой шелковой шали, в юбке, расшитой многоцветными лентами, с браслетами на запястьях и пряжками на туфлях являла собою поистине великолепное

зрелище.

Пожалуй, именно такой наряд и был как нельзя более под стать рослой, ясноглазой и румяной крестьянской девушке, чье тело сформировалось в тяжелом труде, а кожа потемнела от солнца, потому что она много бывала на воздухе. В этаком уборе она двигалась с достоинством, горделиво, словно это возвышало ее над остальными. Для жениха она выглядела в день свадьбы королевой, богиней богатства. Прекраснейшая из роз на лугу, она блистала перед ним, словно золоченый ларец.

Но когда настал черед мамзель Ловисы наряжать невест, она уже не могла пользоваться давним убранством. Теперь обходились тонким миртовым венцом, миртовым же веночком и пышной белой фатой — вот почти и все. Иногда она украшала красной шелковой лентой лиф гладкого черного шерстяного платья, а чтобы слегка оживить простоту, давала невестам напрокат золотую брошь, золотую цепочку, золотой браслет и золотые часы.

Без сомнения она тосковала по давним временам. Видела, что-то не так с этой экономией на красках и украшениях, со старательным укрыванием решительных и, возможно, чуть грубоватых черт под воздушно-белой тюлевой фатой. Такой убор под стать бледным городским барышням, которые хотят явиться перед женихом похожими на грезу, девственно-чистыми. Она не отрицала, что и это может выглядеть красиво, но, по правде говоря, крестьянским невестам куда больше шли давние наряды.

А уж как хлопотно раздобывать мирт для гирлянды и венца в сельской-то глуши! Мамзель Ловиса посадила маленькие миртовые деревца, но они упорно не желали расти, а от невест, как правило, помощи ждать не приходилось.

Однажды мамзель Ловиса угодила в прескверное положение. Пришла к ней средних лет женщина, Кайса Нильсдоттер, и попросила нарядить ее невестой. Сама она происходила из довольно скромной семьи, но замуж собиралась за школьного учителя. И потому решила: коли она сделала такую хорошую партию, то и нарядить ее должна не кто-нибудь, а мамзель Лагерлёф.

Что ж, мамзель Лагерлёф возражать не стала. Только поставила условие: невеста поможет ей раздобыть миртовые веточки.

— Мирта у меня почти не осталось, — сказала она, — не знаю, где его взять.

Невеста посулила принести мирт и для венца, и для гирлянды, однако же слово свое сдержать как следует не сумела. За день до свадьбы прислала в Морбакку несколько веточек, но

листья на них почернели, пожухли и для брачного венца никак не годились.

Вот ведь беда — что прикажете делать? Мамзель Ловиса оборвала со своего мирта все зеленые веточки, но их явно не хватит. Служанки обегали соседние усадьбы, принесли еще немного плохоньких веточек. В тот год мирт вообще был какой-то хворый. Листья черные, только тронешь, сразу осыпаются.

Однако другой зеленью брачный венец украшать нельзя, нужен мирт, и точка. Молодые, свежие веточки брусничника, конечно, очень похожи на мирт, только ведь венец из брусничника будет для невесты большим бесчестьем. Чего доброго, она решит, будто свадьба у нее ненастоящая.

Мамзель Ловиса положила жалкие веточки в воду и далеко за полночь трудилась над венцом и гирляндою. Задача безнадежная, но она старалась изо всех сил.

А утром тихонько, украдкой ушла по аллее в лес. Уходила с пустыми руками и вернулась вроде как тоже с пустыми.

По дороге через кухню в свою комнату она посетовала, что никогда прежде не мучилась с брачным венцом так, как в этот раз. Служанки ей посочувствовали, вызвались сбегать по другим соседям, выпросить мирту.

— Нет, спасибо, — отвечала мамзель Ловиса, — времени нет бегать. Жених с невестой вот-вот будут здесь.

Она прошла к себе, вплела еще веточку-другую в венец и гирлянду, в тех местах, что совсем уж зияли пустотой. А потом показала свое творение экономке и служанкам.

— Боже милостивый, да где ж вы их раздобыли, мамзель Ловиса? — воскликнули те. — Что венец, что гирлянда — сущее загляденье, как всегда. А веточки-то сплошь были почитай что голые, с черными листьями!

Мамзель Ловиса объяснила, что миртовые веточки, полежавши в воде, отудобели. Мол, чернота на листьях — это большей частью грязь да копоть.

Тут и жених с невестой пожаловали, невесту отвели в комнату мамзель Ловисы, стали наряжать. Она хоть и не первой молодости, но собою недурна и привлекательна. Когда всё закончили, ее проводили в гостиную к большому зеркалу; посмотревшись, она осталась очень довольна:

— Никогда не думала, что смогу этак выглядеть.

Она принесла с собою флакон одеколона и красивую шкатулку, полученную на помолвку в подарок от жениха. Шкатулка была полна карамелек, сахара, изюма и пастилок, и теперь невеста обошла комнату, угостила сначала мамзель Лагерлёф, а потом всех остальных. Каждому позволялось мазнуть

себя душистой водой и выбрать из шкатулки карамельку или сахарок. Кайса Нильсдоттер казалась куда веселее и довольнее, чем невесты помоложе, и все наперебой твердили, какая она красивая да нарядная.

Немного погодя невеста с женихом откланялись — поехали к священнику венчаться, а оттуда домой к невесте, где состоится свадьба.

На первых порах Кайса Нильсдоттер была в замужестве совершенно счастлива. Муж был намного старше ее, но она так уважала его ученость, что почитала для себя делом чести заботиться о нем и создать ему уютный дом.

Но потом кто-то пустил слушок. Не иначе, как кто-то из обитателей Морбакки, хотя имя зачинщика так и осталось неизвестным. Слушок этот облетел весь приход, и в конце концов какой-то друг-доброжелатель, наверно, донес его до Кайсы Нильсдоттер:

— Мамзель Ловиса Лагерлёф сплела тебе брачный венец из брусничника.

Поначалу Кайса не поверила. Это же совершенно немыслимо. Но потом она призадумалась. Венец-то был очень красивый, не хуже, чем у других. Светился на голове яркой зеленью. Кайса помнила, как гордилась, что надела его на нее благородная мамзель.

Только вот не слишком ли яркой была зелень? Той весною, когда она выходила замуж, на мирты напала хворь, ей ли не знать. Уж как она тогда старалась раздобыть по-настоящему зеленый мирт, но безуспешно.

Мамзель Ловиса, поди, решила, что с нею и так сойдет, с бедной невестой церемониться не обязательно. Дочке богатого крестьянина она бы никогда не посмела подсунуть венец из брусничника.

После долгих размышлений Кайса поговорила с мужем. Она, мол, опасается, женаты ли они как должно, коли венец у нее был из брусничника.

Муж знать не знал, чем ей помочь. Она плакала и горевала. Чувствовала себя опозоренной и униженной. Мамзель Лагерлёф сочла, что она не ахти какого роду-племени и незачем чин чином наряжать ее невестой, вот и сплела венец из брусничника. А теперь и она, и весь приход над Кайсой насмехаются.

В конце концов муж посоветовал сходить в Морбакку и спросить мамзель Ловису, как было дело, и жена действительно так и сделала.

Только в Морбакку ей случилось прийти в крайне неудачное время. В тот день там был большой праздник, и когда она вошла в

кухню, тем, кто там находился, даже поздороваться как следует было недосуг. Она спросила мамзель Ловису, однако ж та была в комнатах, с гостями, и позвать ее никак нельзя. Дескать, прощения просим, но нынче тут великий праздник. Может, она пройдет в комнатку при кухне, в комнатку мамзель Ловисы, посидит там, подождет.

Кайса Нильсдоттер вошла в комнату. Именно здесь ей на голову надели брусничный венец. Она помнила, как радовалась в тот день. И сейчас, снова очутившись в этой комнате, подумала, что все-таки в обман поверить трудновато.

Немного погодя из кухни появились две служанки, каждая с подносом, уставленным бокалами с вином, и прошли в залу. Дверь они за собой не затворили, так что посетительница могла видеть залу и гостиную, где толпилось множество людей. Да, праздник и впрямь большой. Присутствовали не только господа из Эмтервика. Она узнала пробстово и докторское семейства из Сунне и магистра Хаммаргрена из Карлстада, женатого на сестре мамзель Ловисы.

Кайса застеснялась и пошла закрыть дверь, но в этот самый миг услыхала слова, которые заставили ее замереть и прислушаться. Поручик Лагерлёф, стоя посредине залы, с бокалом вина в руке, объявил о помолвке своей сестры Ловисы с младшим эмтервикским священником — пастором Миленом.

Гости начали поздравлять, произносить здравицы. Все выглядели довольными и приятно взволнованными, что нисколько не удивительно. Мамзель Ловисе Лагерлёф минуло сорок, родные, поди, уже и не думали, что она выйдет замуж. Пастор Милен был вдовец с четырьмя малолетними детишками, которым надобны присмотр и забота. Стало быть, так будет правильно и для всех хорошо.

Кайса Нильсдоттер слыхала разговоры, что в молодости мамзель Ловиса не хотела выходить замуж, духу ей не хватало уехать от родителей, теперь же, когда оба переселились в лучший мир, она, пожалуй, рада была зажить своим домом.

Слыхала она и о том, что мамзель Ловиса будто бы не желала покидать Морбакку. Значит, и в этом смысле все складывается хорошо. Пасторская усадьба расположена в пяти минутах ходьбы.

Кайсу Нильсдоттер аж по сердцу резануло, что у мамзель Ловисы, которая сплела ей венец из брусничника, все будет так хорошо, и она поспешно отошла от двери.

И тут увидела у себя за спиной старую экономку. Та ведь знала, что затевается, и пришла послушать, как объявляют о помолвке.

Посетительница положила на плечо экономки тяжелую руку.

— Я пришла узнать, не из брусничника ли мамзель Ловиса сплела мой брачный венец, — сказала она, — но, наверно, время сейчас неподходящее для таких вопросов.

Экономка слегка опешила, однако ж была не из тех, кто легко теряет присутствие духа.

— Как у тебя язык поворачивается говорить такие глупости, Кайса? — воскликнула она. — Каждый тут, в доме, знает, сколько труда мамзель Ловиса потратила на твой венец. Мы всю округу обегали, выпрашивая мирт.

Кайса Нильсдоттер сверлила ее взглядом. В самую душу заглянуть норовила, чтобы узнать правду.

— Весь приход этак говорит.

Старая экономка думала лишь о том, как бы ее успокоить и выпроводить из дома, чтоб не тревожила мамзель Ловису в такой радостный день.

— Я тебе вот что скажу, Кайса. Не сомневайся: как собственный венец мамзель Ловисы будет из мирта, так и твой был сплетен из мирта, а не из чего другого.

— Я запомню твои слова, — отвечала жена школьного учителя. — Вот когда увижу, из чего сделан брачный венец мамзель Ловисы, тогда и узнаю, как обстояло с моим.

— Спору нет, ты в своем праве, — сказала экономка.

Обе вернулись на кухню. Там Кайса Нильсдоттер протянула экономке руку.

— Я, пожалуй, пойду, — сказала она, с виду теперь совершенно спокойная. — С мамзель Ловисой все равно нынче не поговоришь.

С тем и ушла. Экономка вернулась к печи и стряпне. И за праздничной суматохой напрочь забыла про Кайсин визит. Только через несколько дней рассказала мамзель Ловисе, о чем спрашивала Кайса Нильсдоттер и что она ей ответила.

Услышав это, мамзель Ловиса побледнела как полотно.

— Ох, как ты могла сказать такое, Майя? Лучше бы призналась, что я вплела в венец две-три веточки брусничника, не больше.

— Да ведь мне надобно было ее успокоить, чтобы ушла она восвояси, — оправдывалась экономка.

— Мало того, ты сказала, что мой венец будет из мирта в точности как у нее! А теперь, вот увидишь, у меня брачного венца не будет вовсе.

— Ох, мамзель Ловиса, вы наверняка выйдете замуж. Пастор Милен не обманщик какой-нибудь.

— Могут возникнуть другие препятствия, Майя, очень даже могут.

Несколько дней мамзель Ловиса мучилась опасениями и ходила сама не своя, но потом вроде как забыла. И без того было о чем подумать. Свадьба состоится через полгода, и она со всем старанием принялась готовить приданое. Запаслась пряжей, ткала холсты, шила, вышивала метки. И наконец, съездила за покупками в Карлстад. Привезла оттуда материал на свадебное платье и маленький проволочный венец, который предстояло оплести миртовыми веточками. Ей хотелось иметь собственный венец, а не пользоваться давней основой, которая служила многим и многим невестам.

Но едва лишь все было куплено, в самом деле возникло препятствие. Пастор Милен захворал и надолго слег. А когда более-менее выздоровел и смог подняться, его прямо как подменили. Народ заметил, что он избегает разговаривать со своей невестой и никогда не ходит короткой дорогой в Морбакку, чтобы повидать ее.

А как настало лето, он поехал на воды. Все надеялись, что он окончательно оправится и станет прежним; возможно, ему это удалось, только за весь срок отлучки он ни единого письмеца мамзель Ловисе не прислал.

Она пережила ужасное время, полное страха и тревоги, а в итоге пришла к выводу, что пастор хочет расторгнуть помолвку, и вернула ему кольцо.

В тот день, когда отослала кольцо, она сказала старой экономке:

— Вот видишь, Майя, и мой брачный венец не будет из мирта.

■

Спустя много лет одна из юных дочерей поручика Лагерлёфа спросила у тетушки, нельзя ли ей взять для маскарада что-нибудь из невестиных уборов, и мамзель Ловиса дала ей ключ от поставца, где хранились стародавние сокровища. Правда, поставец успел меж тем перекочевать из ее комнаты на чердак. Девушка поднялась туда, сунула ключ в замок и выдвинула один из ящиков.

И в изумлении воззрилась на содержимое. Перед нею было не обычное красочное убранство. В ящике лежали сверток тюля, цветная шелковая ткань да маленький венец из металлической проволоки.

Она тотчас поняла, что открыла не тот ящик. Свадебные уборы хранятся в другом, в том, что рядом слева. Но все же еще некоторое время смотрела в ящик. Прямо как ножом по сердцу —

бедная тетушка так и не воспользовалась вещицами, которые здесь лежали. Она знала, тетушка много лет безутешно горевала. Все даже опасались за ее рассудок.

В памяти всплыло воспоминание. В ту пору, когда тетушка была особенно печальна и несчастна, она как-то раз зашла к ней в комнату. Тетушка сидела перед кучкой брусничника с проволочным венцом в руках. Отщипнула несколько веточек и принялась украшать ими венец.

Тут вошла г-жа Лагерлёф.

“Ловиса, голубушка, что ты делаешь?” — спросила она, явно перепугавшись.

“Я думала… — сказала мамзель Ловиса. — Если б я удовольствовалась венцом из брусничника… Н-да, глупости все это”.

Она стремительно встала, отбросив от себя и венец, и брусничник.

“Я ведь знаю, все кончено, — проговорила она и, ломая руки, прошлась по комнате. — Теперь горю не поможешь”.

“Ловиса, милая, — сказала г-жа Лагерлёф, — во всем виновата болезнь”.

Но мамзель Ловиса в огромном страхе и тревоге продолжала расхаживать по комнате.

“Если б я тогда не вплела брусничник в брачный венец Кайсы Нильсдоттер!” — воскликнула она.

“Нет, не должна ты этак думать, Ловиса, — начала г-жа Лагерлёф. И тут она заметила дочку, которая во все глаза смотрела на них. — Иди в залу, Сельма! У тетушки Ловисы горе, и вам, детям, незачем ходить сюда и мешать ей”.

Ваккерфельдт

С большака доносится перезвон серебряного бубенца. Едет подпрапорщик Карл фон Вакенфельдт.

Подпрапорщик Карл фон Вакенфельдт — не его ли некогда считали самым красивым мужчиной в Вермланде, а то и во всей Швеции? Не он ли был любимцем стокгольмских дам тою зимой в двадцатые годы прошлого века, когда приезжал в столицу сдавать какой-то экзамен по землемерию? Не он ли устраивал катания на санях и с таким блеском водительствовал в котильонах, что в светском обществе затмевал поголовно всех обычных бальных кавалеров? Не он ли так превосходно вальсировал и так очаровательно вел светскую беседу, что знатные его родичи, которые поначалу знаться не желали с бедным вермландским подпрапорщиком, волей-неволей слали ему смиреннейшие приглашения, оттого что юные дамы не могли веселиться на бале, если там не было его?

И не ему ли так поразительно везло в игре, что он таким манером обеспечил себе средства, позволившие всю стокгольмскую зиму жить столь же расточительно, как какой-нибудь гвардейский поручик? Не он ли был на “ты” с графами да баронами, причем превосходил их всех благородством и элегантностью? Не он ли однажды вечером играл первого любовника в любительском спектакле у адмирала Вахтмейстера и столь зажигательно пропел свои куплеты, что наутро обнаружил в почтовом ящике два десятка любовных записок? Не он ли первым проехал по стокгольмским улицам, разукрасив конскую упряжь и вожжи несчетными серебряными бубенчиками? Не его ли знал весь Стокгольм, так что при его появлении всюду — в Королевском парке и на Бло-Портен, в оперном салоне и в густой уличной толпе — перешептывались: “Смотрите, это Ваккерфельдт![8] Ах-ах-ах, смотрите, Ваккерфельдт!”

Не он ли после той чудесной зимы в Стокгольме вел такую же в точности жизнь в Карлстаде да и вообще везде, куда ему доводилось отправиться? Не он ли вместе с товарищем, подпрапорщиком Селльбладом, и барабанщиком Тюбергом заместо слуги поехал в Гётеборг, выдал себя за финляндского барона и целых две недели, изъясняясь с финским акцентом, держал банк в игре с развеселыми сыновьями богачей-оптовиков? Не он ли тот единственный подпрапорщик, что танцевал с гордой графиней по Апертин, и не он ли был так очарован красавицей мамзель Видерстрём, когда она пела Прециозу[9] в Карлстадском театре, что умыкнул ее и увез бы в Норвегию, но, увы,

театральный директор настиг беглецов в Арвике?

И не он ли, наконец, приехал в Сунне к капитану Вестфельту по Ангерсбю кем-то вроде адъютанта и тотчас расшевелил молодежь озерной долины? Когда еще здесь устраивали такие замечательные благотворительные балы, и шумные рождественские праздники, и веселые пирушки с раками, и романтические прогулки к местам, где открывались красивые панорамы? Не на него ли мечтательная капитанша по Ангерсбю, которая только и делала, что, лежа на диване, читала романы, смотрела как на воплощенного романического героя, не он ли являлся ее юным дочерям в их первых любовных грезах? Ну а как было в соседней усадьбе, в Морбакке, где полон дом хорошеньких дочек? Могли ли они устоять перед кавалером, который владел щипцами для завивки так же искусно, как гитарой, и светлые кудри которого окружал ореол любовных приключений?

Подпрапорщик фон Вакенфельдт едет вверх-вниз по холмам, а единственный серебряный бубенчик звенит тихонько, чуть ли не жалобно. Прежде, во времена его славы и расцвета сил, шесть десятков серебряных бубенчиков на вожжах и конской упряжи звенели невероятно бодро и смело. Словно возвещали о его триумфах, предупреждали о приближении победителя. Теперь же, когда остался один-единственный серебряный бубенчик, звон его возвещает всего-навсего о человеке, чье счастье и радость канули в прошлое.

В санки подпрапорщика запряжен старый конь, по кличке Калле, такой маленький, что все встречные оборачиваются и глядят ему вслед. А вот на хозяина коня никто не смотрит.

Когда он проезжает мимо постоялого двора Гуннарсбю, стайка девушек стоит у колодца, набирает воду. Подпрапорщик в знак приветствия взмахивает кнутом и по давней привычке шлет им самую обворожительную свою улыбку, но они лишь бросают на него мимолетный безразличный взгляд. Не роняют от смущения ведра, не замирают с горящими щеками, глядя ему вослед.

Подпрапорщик фон Вакенфельдт хлещет коня кнутом. Он ведь не дурак, знает, что голова поседела, лицо избороздили морщины, усы изрядно поредели, один глаз мутный от катаракты, а другой, оперированный, искажен толстой линзой очков. Знает, что стал стар и неказист, но думает, что людям не мешало бы помнить, каков он был.

Он знает, что нет у него теперь другого пристанища, кроме нескольких съемных комнатушек в одной из крестьянских усадеб прихода Стура-Чиль. Знает, что всей собственности у него этот вот конь, двуколка, беговые санки да кой-какая мебелишка. Знает,

что всех подчиненных у него — одна брюзгливая старая служанка, но все равно думает, людям не мешало бы помнить, что когда-то его называли Ваккерфельдт — знаменитый на весь Вермланд Ваккерфельдт.

Он сидит в санях, в старой вытертой шубе и еще более вытертой тюленьей шапке. На больных руках толстые кожаные варежки, но подагрические шишки на суставах все равно заметны. И тем не менее именно он некогда держал в объятиях многих и многих красавиц. Этого у него не отнять. Кто еще в здешнем краю прожил такую жизнь, как он, был так любим, как он?

Он стискивает губы и говорит себе, что сожалеть ему не о чем. Если б мог начать сначала, то жил бы так же. Всем, что молодость, красота и сила могли даровать мужчине, — всем он насладился. Жизнь щедро отмерила ему приключений и любви.

Пожалуй, лишь об одном поступке, одном-единственном, подпрапорщик фон Вакенфельдт сожалеет. Не следовало ему жениться на Анне Лагерлёф, самой благородной женщине из всех, каких он встречал. Он несказанно любил ее. Но не должен был на ней жениться.

Приличествует ли Ваккерфельдту сидеть смирно и благоразумно, осмотрительно распоряжаться своим имением, не пытаясь добыть золотишка более легким и занятным способом? Он, конечно, обожал жену, но ведь это не причина думать, что обожать можно только ее одну? Мог ли он изменить свою натуру потому только, что женился? Разве же не благодаря успехам в игре и в любви он снискал свою славу?

Да, он сожалеет о женитьбе. Такая жена была не по нем. Он готов признать, что не стоил ее. Она хотела трудолюбия, порядка, спокойного благополучия. Изо всех сил старалась создать домашний очаг, как у родителей в Морбакке.

Другие, наверно, скажут, что сокрушаться ему надобно не столько о женитьбе, сколько о том, что не сумел он избавить жену от разочарований и огорчений. Ведь когда Анна фон Вакенфельдт не выдержала и после семнадцати лет плачевного брака умерла, на него навалились всевозможные невзгоды. Кредиторы более не ведали пощады, забрали у него имение. От игры пришлось отказаться — едва взявши в руки карты, он проигрывал. Одолели подагра и катаракта. Еще и шестидесяти не сравнялось, а волосы побелели, спину скрючило, стал он беспомощным, подслеповатым, нищим. Будь жива его добрая, любящая жена, ему бы немало посчастливилось.

С ее кончиной он лишился и всякого общения. Никого не интересовало, жив он или умер. Никто не звал его в гости. Казалось, люди терпели его только ради жены. И теперь, когда он

тоскует по смеху и веселью, мечтает вкусно поесть, потолковать с образованными людьми, пойти ему некуда. Когда наступают долгие праздники и ему хочется избавиться от убийственно-тоскливого однообразия крестьянской усадьбы, он тоже не знает, куда бы податься.

В самом деле, на свете есть лишь одно место, куда он может поехать, чтобы хоть немного почувствовать вкус давней жизни, — это Морбакка, откуда он взял жену. Разумеется, ему известно, что они там и вслух говорят, и думают, что она была с ним ужасно несчастна, что он попросту замучил ее до смерти, но он все равно ездит туда трижды в году по большим праздникам, ведь иначе не сможет жить.

Серебряный бубенчик звенит, резко, жалобно. Подпрапорщик фон Вакенфельдт с силой хлестнул конька кнутом. Жизнь приносит много горьких плодов, и никуда от этого не денешься. Так что коню положено делить боль со своим хозяином.

■

Не узнай морбаккские детишки о приближении Рождества иным способом, они бы непременно догадались об этом, заметив, как подъезжает подпрапорщик фон Вакенфельдт.

Завидев далеко в аллее его беговые санки и коня, они ужасно радовались. Бегали по всему дому и сообщали новость, выходили на крыльцо встречать, кричали “добрый день” и “добро пожаловать”, угощали коня хлебом, относили тощий саквояж в вышитых крестиком цветах и лилиях в контору, где подпрапорщику приготовили комнату.

Вообще-то странно, что дети всегда так радостно встречали подпрапорщика фон Вакенфельдта. Он ведь не привозил им ни лакомств, ни подарков, вероятно, просто был для них неотъемлемой частью Рождества, потому они и радовались. Впрочем, пожалуй, оно и к лучшему, что они выказывали такое дружелюбие, ведь взрослые вокруг него не суетились. Г-жа Лагерлёф и мамзель Ловиса даже на крыльцо не выходили, а поручик Лагерлёф с весьма глубоким вздохом откладывал “Вермландстиднинген”, вставал с кресла-качалки и шел поздороваться.

— Ну вот, ты снова здесь, Вакенфельдт, — говорил он, выйдя на порог. Потом немного расспрашивал о дороге, о поездке и провожал зятя в контору. Освобождал ящик в своей шифоньерке, проверял, есть ли свободное место в платяном шкафу. Потом уходил вместе с детьми, оставлял гостя одного.

Ведь каждый раз, когда подпрапорщик фон Вакенфельдт

приезжал в Морбакку, поручик живо вспоминал покойную сестру. Старшая из детей, она заботилась о нем, когда он был маленьким, помогала ему, возилась с ним. Никого из сестер он так не любил, никем так не гордился. А она взяла и влюбилась в этакого шалопая! Красивая была, видная и под стать наружности добрая и достойная. Всегда в хорошем настроении, всегда окружающим было с нею легко. И без устали старалась сохранить свой домашний очаг. Муж-то только транжирил да проматывал деньги. А она не хотела, чтобы в Морбакке узнали, как ей трудно, и пришли на помощь. Вот почему так рано, всего в сорок с небольшим, приказала долго жить.

Грустная история и возмутительная, и поручик никак не мог выказать Вакенфельдту дружелюбие, когда все это поднималось в душе. Он предпринимал долгую прогулку, чтобы горечь улеглась.

Примерно так же обстояло и с г-жой Лагерлёф и мамзель Ловисой. Г-жа Лагерлёф любила Анну Вакенфельдт больше всех своих золовок и невесток и искренне ею восхищалась. Из всех свойственников никто не относился к ней сердечнее. И она не могла простить подпрапорщику фон Вакенфельдту, что он сделал эту превосходную женщину несчастной.

Мамзель Ловиса ребенком часто гостила в подпрапорщиковом Вельсетере, у сестры и зятя. И лучше всех остальных знала, каково приходится сестре. Слыша имя Вакенфельдт, она непременно вспоминала то утро, когда в Вельсетер заявились какие-то мужики и вывели из хлева двух лучших коров. Сестра выбежала из дома, возмущенно спросила, что они себе позволяют, однако они совершенно спокойно отвечали, что подпрапорщик минувшей ночью проиграл этих коров их хозяину. Мамзель Ловиса как наяву видела сестру, которая пришла в полное отчаяние. “Он не возьмется за ум, пока не сведет меня в могилу”, — сказала Анна.

Тем не менее, мамзель Ловиса первая вспоминала о своих обязанностях хозяйки. Вставала из-за швейного столика, где сидела с вышиванием, время от времени поглядывая в роман, лежавший открытым в швейной корзинке, шла к кухонной двери, приоткрывала ее и, как бы оправдываясь, говорила экономке:

— Майя, голубушка, опять Вакенфельдт приехал.

— Не могу понять, с какими глазами этот малый, который этак скверно обращался со своею женой, заявляется сюда каждое Рождество, — сердито отвечала экономка.

— Так ведь выставить его за порог никак не годится, — говорила мамзель Ловиса, — а теперь будь добра, Майя, свари кофейку, ему надобно погреться с дороги.

— Вечно он умудряется приехать после того, как все

напьются кофею и печка прогорит, — ворчала экономка, вроде и не собираясь вставать с места.

Однако ж кофе варила, потому что немного погодя горничную отряжали в контору сказать подпрапорщику фон Вакенфельдту, чтобы шел в залу пить кофе.

Шагая по двору, подпрапорщик опирался на трость, но оставлял ее в передней и в залу входил довольно молодецкой походкой. Впрочем, мамзель Ловиса, поджидавшая его там, все равно видела, что каждый шаг дается ему с трудом, пожимая руку, чувствовала уродливые подагрические шишки, а поглядев в лицо, утыкалась взглядом в жутко увеличенный оперированный глаз. И тогда львиная доля ее гнева улетучивалась. Она думала, что он уже наказан, и не хотела прибавлять ему тягот.

— Как мило, что вы, Вакенфельдт, смогли и нынче приехать к нам на Рождество, — через силу говорила она.

Потом наливала ему кофе, а он садился на обычное свое место в углу между изразцовой печью и сложенным ломберным столом. Скромное местечко, зато и самое теплое в комнате. Подпрапорщик, устраиваясь там, знал, что делал.

Он немедля заводил с мамзель Ловисой разговор о своей служанке Инге и вечных ее сварах и раздорах с хозяевами усадьбы, где он снимает жилье. Этакие мелкие сплетни, как он знал, развлекали свояченицу, и он давно приметил, что она немного погодя наливала кофе и себе и составляла ему компанию.

Пока они с мамзель Ловисой угощались кофейком, наступали сумерки, на круглый столик возле дивана ставили лампу. А после сразу появлялась г-жа Лагерлёф.

Ей не удавалось совладать с первоначальной неприязнью, и здоровалась она с подпрапорщиком весьма холодно. Просто, не говоря ни слова, пожимала руку и садилась рукодельничать.

Подпрапорщик продолжал вполне спокойно беседовать с мамзель Ловисой, однако менял тему. Принимался рассказывать о всяких-разных диковинных хворях среди людей и домашней скотины, которые случались в крестьянской усадьбе и которые он, Вакенфельдт, сумел излечить.

Супротив таких вещей г-жа Лагерлёф устоять не могла, тут она была в своей стихии. И оглянуться не успевала, как уже участвовала в разговоре.

Последним приходил поручик Лагерлёф, усаживался в качалку. Тоже молчаливый и не в духе. Но беседа теперь ненароком сворачивала в другое русло. Речь заходила о давнем Карлстаде, где подпрапорщик родился, а поручик учился в школе и всегда с большим удовольствием вспоминал этот город.

Говорили и о Стокгольме, об Эмилии Хёгквист,[10] о Дженни Линд[11] и о многом другом, прекрасном и памятном. В конце концов, поминали и старинные вермландские байки, и вечер пролетал так быстро, что все удивлялись, когда горничная приходила накрывать к ужину.

Самое, однако ж, поразительное, что, рассказывая какой-нибудь случай из собственной жизни, подпрапорщик фон Вакенфельдт неизменно представал человеком на редкость разумным и осмотрительным. Что правда, то правда, он впрямь участвовал в иных рискованных событиях, но в рассказах всегда выступал в роли друга-советчика, помогавшего опрометчивым людям в их бедствиях.

Взять, к примеру, хоть Вестфельтов по Ангерсбю! Какой опорой он был этим милым, доверчивым людям, особенно когда их сына обманула невеста и нежданно-негаданно обручилась с другим!

Никто и никогда не говорил о своей матери или о жене почтительнее его. Экий благородный сын, экий любящий супруг — о таком впору только мечтать.

Не кто иной, как он, вразумлял молодых женщин, мирил женихов и невест, скреплял едва не порванные брачные узы.

Всем несчастным он был наперсником и никого не предал. Даже спасал мужчин, пристрастившихся к азартной игре, наставлял на путь истины, напоминал о долге и обязанностях.

После ужина, когда подпрапорщик фон Вакенфельдт, прихрамывая, удалялся в свою комнату, поручик Лагерлёф, жена его и сестра молча сидели, глядя друг на друга.

— Н-да, ничего себе штучка этот Вакенфельдт, право слово. Умней нас всех вместе взятых, — вздыхал поручик.

— С Вакенфельдтом всегда было занятно поговорить, — замечала мамзель Ловиса.

— Коли он вправду так помогал другим, отчего же собственную свою жизнь вконец испортил? — сухо роняла г-жа Лагерлёф.

— С иными людьми так бывает, — говорил поручик.

■

Стало быть, как говорится в “Саге о Фритьофе”,[12] фон Вакенфельдт в веселье и гостеприимстве проводил в Морбакке все Рождество, оставаясь в роли разумного да проницательного старца. Спрашивай у него совета о чем угодно — он и лекарство назначит хоть от прыщей, хоть от насморка, и насчет нарядов совет даст, и как еду стряпать, и как покрасить, расскажет, и в

сельском хозяйстве наставит, и людям оценку даст наилучшим и разумнейшим образом.

И все охотно обращались к нему в щекотливых делах.

— Не странно ли, Вакенфельдт, что эти детишки никак не привыкнут есть отварную морковь? — сказала однажды мамзель Ловиса. — Ведь морковь вполне хорошая еда, верно?

Подпрапорщик фон Вакенфельдт не обманул ее ожиданий.

— Разбудите меня среди ночи и предложите морковь, — сказал он, — я с радостью съем все подчистую.

Прямо-таки противоестественно, до чего он был мудрым, сдержанным, благоразумным. Старый кавалер Ваккерфельдт, триумфатор с шестью десятками серебряных бубенцов, — куда он подевался?

Но вот как-то раз поручик Лагерлёф заспорил со своими женщинами об одной молоденькой девушке из здешней округи. Г-жа Луиза и мамзель Ловиса считали ее милой и красивой, поручик же утверждал, что ни одному мужчине она приглянуться не может. И он, по обыкновению, обратился к Вакенфельдту:

— Ты, Вакенфельдт, в женщинах разбираешься! Вот и скажи мне: захотел бы ты поцеловать эту маленькую щеголиху?

Все заметили, что, услыхав эти слова, подпрапорщик фон Вакенфельдт сильно разволновался. Старик стариком, а покраснел, стукнул кулаком по столу, привстал и громогласно вскричал:

— Ты еще спрашиваешь! Никогда я не целовал уродин!

А безбожные люди вокруг от души расхохотались. Ишь, ходил тут умником-разумником. Изображал заурядного человека, но простенький вопрос вывел его на чистую воду. Старый кавалер по-прежнему жил в нем. Жалкий, больной, старый, опустившийся, однако думать не могите, не намекайте, будто он целовал уродин.

Ах, Ваккерфельдт, Ваккерфельдт!

Оркестр

Был такой майор Эренкруна, по рождению финн, и жил он прежде в роскоши, занимал высокое положение, но на старости лет поселился в съемном жилье, у крестьян, и влачил свои дни в такой же бедности и убожестве, как подпрапорщик фон Вакенфельдт. Ходил слух, будто он мастерски играет на валторне, однако ж с тех пор как обнищал и стал одинок, никто его игры не слыхал.

Еще был г-н Тюберг, который начинал свою карьеру барабанщиком в Вермландском полку и наверняка бы спился с круга, если б морбаккский поручик не обнаружил в нем больших способностей обучать маленьких детей чтению и письму и не нанял его домашним учителем к своим ребятишкам, а позднее не определил на место учителя в начальную школу Эстра-Эмтервика.

Не забыть также Яна Аскера, в прошлом опять-таки музыканта из Вермландского полка, а ныне церковного сторожа и могильщика в Эстра-Эмтервике. Происходил он из старинного музыкантского рода и обычно играл на кларнете на всех крестьянских свадьбах и на танцах. По натуре угрюмый, строптивый, только музыка худо-бедно примиряла его с жизнью.

Дальше надобно назвать фабричного счетовода Гейера, который обитал на чердаке школьного здания и сам вел свое хозяйство. Более всего на свете он любил музыку, но по бедности не имел никакого инструмента, а потому нарисовал клавиатуру на доске и играл на ней.

И, наконец, звонарь Меланоз, который обучался у самого пробста Фрюкселля, умел слагать стихи, шить башмаки, столярничать и в сельском хозяйстве кумекал. Он был распорядителем на всех свадьбах и похоронах, а вдобавок считался лучшим школьным учителем во всей озерной Фрюкенской долине. Каждое воскресенье приходилось ему играть на ужасном органе в эстра-эмтервикской церкви, что было бы ему, человеку музыкальному, совершенно невмоготу, не имей он скрипки — играя на ней, он утешал себя воскресными вечерами.

Так вот, все означенные лица уговорились собраться в Морбакке в один из рождественских дней, покамест еще не закончились рождественское пиво, и ветчина, и сусляной хлеб.

Первый из них, приехав в Морбакку, сразу в дом не вошел, дождался, когда окажутся они в полном составе — майор Эренкруна, и г-н Тюберг, и церковный сторож Ян Аскер, и фабричный счетовод Гейер, и звонарь Меланоз.

Затем все строем, во главе с майором, прошагали к большому крыльцу, распевая: “Португалия, Испания, Великобритания”.

Морбаккский поручик, вероятно, догадывался, что именно предстоит, но из дома не выходил, чтобы не испортить гостям удовольствие. А вот когда услыхал песню, живо поднялся и вышел навстречу. Не замешкался на сей раз и подпрапорщик фон Вакенфельдт, ведь он, разумеется, находился в Морбакке, поскольку Рождество покуда не закончилось.

Гости направились в усадебную контору снять шубы и боты, а поручик Лагерлёф тем временем послал своих сынишек, Даниэля и Юхана, принесть с чердака гитару, валторну, флейту и треугольник. Сам же поспешил в спальню, достал из-под кровати массивный скрипичный футляр. Положил его на стул, сунул в замок ключ и благоговейно вынул скрипку, обернутую шелковым платком.

И хотя сам никогда не курил и никому в доме курить не позволял, все же послал мальчуганов в контору за старой длинной трубкой времен пастора Веннервика и квадратным ящичком с табаком, чтобы майор Эренкруна мог выкурить трубочку, как привык, и не пришел в дурное расположение духа.

Когда пятеро гостей, подпрапорщик фон Вакенфельдт и сам поручик вошли в залу, когда был принесен поднос с тодди[13] и всем, кроме г-на Тюберга, который навсегда распрощался со спиртным, налили горячительного, а майор наконец раскурил никому дотоле не нужную трубку, они единодушно порешили, что незачем тратить драгоценное время на карточную игру да пустые разговоры, куда лучше заняться музицированием.

Именно этого поручик и ожидал и тотчас отправился за музыкальными инструментами, которые успел второпях собрать.

Скрипку он вручил звонарю Меланозу, каковой слегка упирался, ведь скрипка — благороднейший из инструментов, а в этой комнате собрались люди, куда более достойные играть на ней, нежели он. Но поскольку никто другой на скрипку не притязал, он так обрадовался, будто ему досталось сущее сокровище, и немедля принялся настраивать ее, подкручивая колки.

Флейта, разумеется, досталась г-ну Тюбергу. На этом инструменте он играл в полку, когда перерос барабан. Старая морбаккская флейта была ему не в новинку, и он знал, что она изрядно рассохлась, а потому побежал на кухню, ведь надобно окунуть ее целиком в квас и замотать соединения пеньковыми оческами, чтобы не рассыпалась.

Гитару поручик подал счетоводу Гейеру. Лицо у счетовода было тонкое, длинное, шея тоже длинная, тонкая, глаза

водянисто-голубые, пальцы тонкие, длинные, и от всего его облика веяло какой-то томной хрупкостью. С девичьим смешком он накинул на шею широкую, яркую шелковую ленту, прикрепленную к гитаре, и ласково прижал инструмент к себе, словно возлюбленную. Видел, понятно, что на гитаре всего лишь три струны, но думал, скорей всего, что и этого хватит, обычно-то он играл на деревянной доске.

Церковный сторож Аскер проявил предусмотрительность и захватил собственный кларнет, который лежал в заднем кармане шубы, так что ему оставалось только сходить за инструментом в контору.

Подпрапорщик фон Вакенфельдт по обыкновению сидел в углу возле изразцовой печки, стараясь сделать хорошую мину и изобразить веселье, хотя прекрасно понимал, что при своей подагре ни на чем играть не может. Однако поручик подошел к нему с треугольником — уж с этой-то штуковиной он управится, и тогда подпрапорщик тоже развеселился.

Майор Эренкруна между тем пускал дым сквозь пышные седые усы. Видел, как одному за другим вручают инструменты, но покуда и бровью не повел.

— Дай-ка мне парочку кастрюльных крышек, — сказал он поручику, — по крайней мере, тоже поучаствую, пошумлю маленько! Ведь насколько мне известно, в этом доме нет инструмента, на котором я играю.

Поручик стрелой метнулся в гостиную и воротился с до блеска начищенной валторною на зеленом шелковом шнуре, которую ему посчастливилось раздобыть для майора.

— Что ты на это скажешь, старина? — спросил он.

Майор просиял.

— Право слово, ты молодец, дружище Эрик Густав. — Он отложил трубку и принялся дуть в мундштук валторны, до ужаса сильно и громко.

Все получили свое, однако ж спохватились, что сам-то поручик без инструмента.

Тогда тот достал маленькую деревянную свистульку, которую, когда на ней играешь, должно до половины погрузить в стакан с водой. А коли так сделаешь, можно извлечь из нее такие трели, что и соловей лучше не выведет.

Под конец призвали г-жу Лагерлёф, попросили аккомпанировать на фортепиано.

В честь майора первым делом попробовали “Марш бьёрнеборгцев”. Г-жа Лагерлёф ударила по клавишам, и остальные семь инструментов подхватили, как могли. Вышло до того гулко, что все изумились.

Старались они изо всех сил. И звонарь Меланоз, и Ян Аскер, и г-н Тюберг играли уверенно, вели остальных. Но майор частенько слегка отставал, а поручик вставлял трели от случая к случаю — отчасти потому, что свистулька его иной раз капризничала, а отчасти потому, что был не прочь сбить других с такта.

Доигравши марш, все развеселились, пришли в приподнятое настроение и порешили исполнить его еще разок, чтобы уж совсем ладно вышло. Майор от усердия так надувал щеки, что казалось, они вот-вот лопнут, глаза аж кровью налились, но с валторною он все ж таки управлялся не столь ловко, как рассчитывал, потому что и теперь выбивался из такта.

Внезапно он резко встал и отшвырнул валторну в печной угол, да с такою силой, что она угостила подпрапорщика фон Вакенфельдта по ноге, по самому больному пальцу.

— Черт меня побери! — вскричал майор. — Не стану я сидеть тут да портить “Марш бьёрнеборгцев”. Играйте дальше, у вас ловко выходит!

Остальные несколько растерялись, однако начали сначала, в третий раз, а майор запел: “Сыны народа, кровью обагренного”.

Выводил песню сильным, красивым басом, наполнив звуками весь дом. Голос лился могучим потоком, увлекал за собою дребезжащее фортепиано, сиплый кларнет, скрипку, на которой звонарь пиликал, как издавна заведено у деревенских музыкантов, и рассохшуюся флейту г-на Тюберга, и трехструнную гитару, и неуверенный треугольник подпрапорщика, и капризного поручикова соловья.

Всех охватило горячее волнение, ведь они по-прежнему испытывали боль оттого, что мы утратили Финляндию,[14] и теперь словно бы вместе с храбрецами-бьёрнеборгцами выступили в поход, чтобы отвоевать у русских этот край.

А когда марш отзвучал, поручик сделал жене знак, и она заиграла “Тени благородные, почтенные отцы” из оперы “Густав Васа” — коронный номер майора.

И Эренкруна запел своим мощным басом, и прочие инструменты тоже прямо-таки запели.

Тем временем на диване, что стоял в зале между окнами, расположились дети — Даниэль с Юханом, Анна, Сельма и Герда. Сидели тихо как мышки, только смотрели и слушали.

Видно, им было велено сидеть тихо, когда взрослые играли и развлекались, будто дети.

Слушая, как майор поет “Тени благородные, почтенные отцы”, они невольно представляли себе, что поет он о себе самом и об остальных собравшихся в зале. Ведь для ребятишек эти люди были призраками минувшего, тенями из богатой блистательной

эпохи, от которой сами они могли увидеть лишь сей слабый отсвет.

Новая Морбакка

Семнадцать кошек

В последний год при полковом писаре жила в Морбакке скотница по имени Бритта Ламберт. Маленькая, невзрачная, лицо темное, ровно дубленое, вдобавок одноглазая. С людьми не ладила, вечно брюзжала, но работница была каких поискать, любила скотину. Если она ждала, что корова ночью отелится, то устраивала себе постель прямо в хлеву и спала там. Каждый день грела в пивоварне воду и таскала в коровник большущие лохани, чтобы пойло у коров было теплое, а когда — этак в апреле — сено подходило к концу и коровам оставалось жевать ржаную солому, она не считала за грех тайком пробраться в конюшню и стащить сенца у лошадей.

Скотный двор, где она заправляла, был ветхий и до того темный, что, зайдя внутрь, собственной руки толком разглядеть невозможно. Проходы узкие, пол в ямах, стойла у коров маленькие, тесные, а вычистить их Бритте Ламберт не больно-то хватало ума. Однако ж в старом коровнике всегда царило благоденствие. Никаких разговоров о том, чтобы одна из коров объелась, или наткнулась на что-нибудь острое, или с отелом пошло не так. И молока всегда хватало, и телят — словом, о скотном дворе хозяйке Морбакки беспокоиться не приходилось.

Но еще больше, чем коров, Бритта Ламберт любила кошек. Вроде как верила, будто они способны защищать ее и скотину, и не было ничего хуже, как попросить ее хотя бы иногда топить котят, чтобы кошек на скотном дворе не стало больше, чем коров. Зайдешь туда, а в потемках так и сверкают со всех сторон зеленые кошачьи глаза. Кошки путались под ногами, а то и на плечи прыгали — так их Бритта Ламберт приучила.

Когда после батюшки своего распоряжаться в Морбакке стал поручик Лагерлёф, на скотном дворе обитали не меньше семнадцати кошек. Поголовно все рыжие, в полоску, ни белых, ни черных, ни серых — Бритта Ламберт верила, что одни только рыжие приносят счастье.

Поручик, конечно, очень любил животных и ничего против кошек не имел, но держать в коровнике аж семнадцать штук, поить их да кормить — это уж явно чересчур. Молока выпивают — на троих телят хватит, и хотя крыс и полевок начисто извели, однако ж вели такую беспощадную охоту на мелких пташек, что в Морбакке почитай что ни единого воробья не осталось.

Что ни говори, избавляться от кошек нехорошо, и, не желая переполошить Бритту Ламберт и других женщин в усадьбе, поручик им о своих замыслах даже не заикнулся. Только отдал

коротенькое распоряжение Маленькому Бенгту, бывшему конюху, который по-прежнему жил в усадьбе и занимался помаленьку то одним, то другим.

С того дня кошки со скотного двора начали странным образом пропадать. Не вдруг и не быстро, а исподволь. Бритта Ламберт вроде бы примечала, что кошки, которых она особенно ценила, одна за другой куда-то исчезают и больше не появляются, но полной уверенности у нее не было, ведь все кошки были одной масти, в полоску. Она пробовала пересчитать их, когда они приходили полакомиться молоком, однако ж и это оказалось непросто. Во-первых, они толпой суетились вокруг миски с молоком, а во-вторых, в скотном дворе царила чуть ли не кромешная тьма.

Бритта пожаловалась на напасть старой экономке и молодой хозяйке.

— Боязно мне, что коли настанет конец рыжим кошкам, то настанет и конец благополучию на скотном дворе, понятно? — сказала она. — Ничего хорошего в хозяйстве не жди, коли платишь неблагодарностью тем, кто завсегда нам пособлял.

И г-жа Лагерлёф, и экономка уверяли, что никаких козней против ее кошек не строили. И скоро они, все семнадцать, наверняка снова будут при ней.

Однако Бритта Ламберт продолжала примечать, что число кошек убывает. Она подозревала то одного, то другого, но ни один вины за собою не признавал. Единственный, о ком она даже и подумать не могла, что он ополчился против ее кошек, был поручик. Она твердо верила, что старая хозяйка такому его не учила.

— Худо, барин, ох худо, — говорила она всякий раз, когда он заходил на скотный двор. — Пропадают мои кошечки. Оченно я печалуюсь.

— А по-моему, они все так же шныряют под ногами, — отвечал поручик.

— Всего тринадцать осталось, — вздыхала скотница. — Не хотелось бы мне быть на месте того, кто это учиняет. А хуже всего, что обернется это супротив усадьбы, вот помяните мое слово.

Что ж, поручик Лагерлёф был в ту пору молод, полон сил, с увлечением занимался земледелием и строил большие планы насчет Морбакки. Усадьба большими размерами не отличалась, зато он точно знал, почва здесь добрая, поля сплошь ровные да просторные, без камней. Уж он позаботится, чтобы усадьба его стала одной из лучших в озерной долине.

Денег хватало, тесть-то его, фабрикант Вальрот из

Филипстада, был человек состоятельный. Очень он одобрял, что зять такой дельный и предприимчивый, а потому оказывал ему всяческую поддержку.

Поручик, стало быть, начал переводить усадьбу на севооборот. Прокладывал саженной глубины канавы, сеял на пастбищах клевер и тимофеевку, чтобы росли там не только полевые цветы. Приобрел молотилку, так что больше не приходилось всю зиму торчать на гумне с цепом. Вдобавок закупил в несских поместьях крупных коров, запретил выпускать коров в лес и с весны до осени перебиваться там впроголодь, велел пасти на лугах.

Чего только не придумывал, лишь бы поднять усадьбу! Вел долгие переговоры с крестьянами на западной стороне долины, хотел прикупить у них земли, расширить свои владения. Строил, заботился о работниках, чтобы имели они приличное жилье с сараями да участками и могли держать корову и свиней.

И трудился он не напрасно. За считанные годы усадьба вернула все, что он в нее вложил. Вскоре он не знал, куда на зиму девать сено. Посадивши горох, снимал двадцать бочек взамен одной посаженной, а когда сеял репу, урожай был сущая благодать — в усадьбе не хватало рабочих рук, чтобы его убрать, приходилось звать соседей с телегами и лошадьми: мол, приезжайте в Морбакку, увозите, сколько сможете собрать.

Одно очень ему мешало во всех этих улучшениях: речушка Эмтан, которая змеилась, образуя петли и красивые заводи, по дну долины, где располагались его земли. Обыкновенно она была не больше лесного ручья, но как только случался ливень, выходила из берегов и превращала его клеверные луга и овсы в блестящие озерки.

Не мог поручик успокоиться, пока не совладает с речкой. И вырыл он для нее на своих землях новое русло, глубокое и прямое. Правда, радовался недолго. Крестьяне, владевшие землями пониже Морбакки, оставили русло прежним, извилистым и мелким, вода там почти не двигалась, и едва лишь случился сильный ливень, речка сызнова вышла из берегов — и у них, и у поручика.

С таким положением вещей поручик примириться не мог. Какой смысл трудиться на земле, коли Эмтан в любую минуту может смыть и загородки его для сушки сена, и бабки ржаных снопов? Никак он не сумеет вести свое хозяйство так, как хочет, пока не найдет на речку управу.

Поговорил с соседями, и они как будто бы не возражали углубить как следует речное русло. Призвали землемера, тот изготовил карту, составил смету расходов, а когда подготовка

была закончена, всех, имевших касательство к этому делу, пригласили в приходский дом для окончательного решения.

Прежде чем до этого дошло, пришлось преодолеть немало препятствий и сомнений, и тем утром, когда поручик собрался на означенную встречу, он был вполне доволен, так как полагал, что самое трудное осталось позади.

Он уже хотел было сесть в двуколку, как вдруг увидал на сиденье одну из рыжих скотницыных кошек, которая пристально смотрела на него.

Ну, вообще-то ничего удивительного тут нет, ведь все кошки со скотного двора обожали кататься. Бритта Ламберт катала их в тачке, как говорится, с младых когтей, в результате рыжие кошки любили кататься не меньше, чем малолетние дети, и сами запрыгивали хоть в телегу, хоть в тачку. Однако не имели привычки забираться в господский экипаж.

— Ты что же, со мной на встречу собралась? — сказал поручик кошке и прогнал ее из двуколки. Кошка соблаговолила уйти, но сперва бросила на поручика взгляд, исполненный такого недоброго лукавства, что ему прямо-таки стало не по себе.

Прежде чем выехать на большак, надобно было миновать трое ворот, и в то утро на каждом столбе ворот сидели скотницыны полосатые рыжие кошки. Опять же и тут удивляться особо нечему, кошки любят сидеть на столбах ворот, нежиться на солнышке и наблюдать за происходящим вокруг. Но поручику поневоле почудилось, будто все кошки в этот день выглядели как-то по-особенному. Смотрели на него лукаво и язвительно, будто загодя знали, как все обернется с этой поездкой. Он готов был поверить, что Бритта Ламберт права: это мелкие тролли да гномы прикидываются кошками.

Повстречать этакую уйму кошек в начале поездки не назовешь добрым знаком, однако поручик, как его учила маменька, трижды сплюнул через плечо перед каждой кошкой и, продолжая путь, больше о них не думал. Размышлял о плане обуздания речушки и прикидывал, как бы изложить дело четко, ясно и убедительно.

Но, войдя в приходский дом, он невольно вспомнил о кошках. Потому что в лицо пахнуло осторожностью и опаской. Крестьяне сидели с неподвижными, словно бы замкнутыми физиономиями.

Поручик заподозрил, что они пожалели о своем согласии, и действительно, так и оказалось. Все его предложения были отвергнуты.

— По нашему разумению, от этого рытья будет выгода Морбакке, — сказали они, — а для нас разницы никакой.

Другого ответа поручик от них не добился.

Воротившись домой, он совершенно пал духом. Дело-то решено теперь надолго вперед. Речка по-прежнему будет наносить ущерб. Коли на поле к нему забредет чужая скотина, ее можно прогнать, а речные воды не прогонишь, так и будут бесчинствовать на свободе да все портить.

Посидел он, поразмыслил об обманутых надеждах, а потом встал и пошел в людскую к Маленькому Бенгту.

— Не вышло ничего с речкою, Бенгт, — сообщил он.

— Н-да, вот досада так досада, — вздохнул старик. — Батюшка ваш, полковой-то писарь, твердил, что усадьба вдвое подымется в цене, коли с Эмтан как-нибудь совладать.

— Послушай-ка, Бенгт, — понизил голос поручик, — кошек на скотном дворе теперь не очень много. Пожалуй, лучше пусть все, какие есть, останутся у Бритты.

— Как прикажете, барин, — отвечал Маленький Бенгт.

Поручик еще больше понизил голос, словно опасаясь, что старые стены людской услышат его слова:

— Ты где их топил, Бенгт?

— В речке, где ж еще? Боялся я, что, коли топить в утином пруду, всплывут они и люди их увидят.

— В речке, значит, — сказал поручик. — Так я и думал. — Он надолго замолчал, а потом обронил: — Н-да, на свете и впрямь много странного.

— Что правда, то правда, барин, — закивал старик.

До конца своих дней поручик Лагерлёф, хочешь не хочешь, терпел, что речка распоряжалась на его прекрасных полях, как ей заблагорассудится. Год за годом смотрел, как она выходит из берегов и по всей долине вниз от Морбакки оборачивается вереницей мелких озерков.

И глядя на это, он каждый раз говорил о рыжих кошках, что сидели на столбах ворот, когда он поехал на то собрание. Может, они впрямь знали, что в то утро его ждет неудача? И вправду ли того, кто обижает кошек, непременно ждет расплата? Без устали размышлял об этом до последнего дня.

Новый скотный двор

Поручику Лагерлёфу хотелось сделать Морбакку не просто богатой и процветающей. Он стремился, чтобы усадьба стала красивой и привлекательной, с большим садом вокруг жилого дома.

А ведь по другую сторону двора, прямо напротив жилого дома, стоял старый уродливый скотный двор с провалившейся соломенной крышей, крохотными оконцами и серыми дощатыми стенами. Рядом росли столетние клены с желтыми от лишайника стволами и пышными кронами, они заслоняли нехитрую постройку, и усадьба выглядела не столь уж неказисто, однако поручик считал, что, если старый скотный двор не убрать, Морбакка никак не будет похожа на господское поместье.

Поселившись в Морбакке, он на первых порах был по горло занят земледельческими улучшениями и только после поездки в Стрёмстад и кончины старой г-жи Лагерлёф приступил к возведению нового скотного двора, ведь не построив нового, старый снести нельзя.

Чтобы из жилого дома новый скотный двор виднелся как можно меньше, поручик решил поставить его внизу, на ровном участке возле песчаного бугра, на вершине которого располагались все прочие морбаккские постройки. Усадебные женщины, услышав про этот замысел, запричитали. Даль-то какая — ходить туда обихаживать коров, а скотнице и помощнице ее каково будет по три раза на дню таскать молоко вверх по крутому склону в молочную! Но поручик и слышать ничего не желал. Он намеревался перенести вниз все хозяйственные постройки, в том числе и молочную, а когда все сосредоточится в одном месте, и работникам, и скотине выйдет огромное облегчение.

Скотный же двор, хоть и расположенный далековато, будет самый расчудесный во всей округе. До самой крыши сплошь из кирпича, в форме креста, и поместятся в нем, по меньшей мере, пять десятков коров. Еще бы крышу куполом — так прямо церковь, да и только.

Поручик потолковал о своих планах с тестем, а фабрикант Вальрот видел старый скотный двор и понимал, что его давно пора заменить. И, стало быть, предоставил поручику на строительство весьма значительную сумму. Тот начал подготовку. Несколько зим кряду ломал камень в осбергской каменоломне для фундамента. Год-другой летом возле утиного пруда в Морбакке стояла глиномялка, кирпичники месили глину и формовали кирпичи, которые затем сохли на солнце, пока не

делались крепкими и прочными. Осенью же он посылал людей в лес рубить деревья — на поперечные балки и стропила.

В конце концов, пришло время размечать участок и рыть траншеи под фундамент. Великая минута настала для поручика, когда рабочие взялись за лопаты и начали снимать дерн.

Приступили к земляным работам на восточной стороне, ближе к усадебным постройкам. Все шло хорошо. Почва плотная, камни фундамента держались прочно.

Заложив фундамент по длинной восточной стороне и по западному торцу, перешли на западную сторону, ту, что смотрела на поля. Здесь-то и обнаружился большой просчет. Когда сняли верхний слой грунта, под ним оказалась рыхлая и мягкая голубая глина. Фундаментные камни попросту тонули в ней, исчезали без следа.

Поручик допустил серьезную промашку, не проверив заранее, каков грунт на западной стороне, и теперь, когда с одного боку уже вывели фундамент, решил продолжать строительство на размеченном месте. Один старый строитель, впрочем, посоветовал перенести скотный двор повыше, ведь с голубой глиной совладать ох как непросто, но поручик и слушать не стал. Раз начали — будем продолжать, и точка. Голубая глина тоже, поди, не бездонная, а камней, чтобы ее укрепить, тут полным-полно. Осберг — гора большая.

Воз за возом он сбрасывал камни в голубую глину и вскоре воздвиг широкую насыпь, которая стояла прочно, не расползалась, так что вполне выдержит капитальную стену. Но тут аккурат разнепогодилось, и после нескольких ливней в насыпи появились трещины. А наутро она начала проваливаться и за несколько часов полностью исчезла.

Тут уж и строители, и многие другие стали советовать поручику перенести скотный двор в другое место, однако он сдаваться не желал. Сколько труда вложено, а коли переносить, все надобно переделывать заново. К тому же он хотел, чтобы скотный двор располагался именно там, где он наметил. Не сыскать другого места, где он и в глаза не бросится и будет рядом.

Все лето возили камень, сыпали в голубую глину, а когда пришла осень, все еще не было уверенности, что фундамент выдержит, вот и порешили повременить с самим строительством до будущего года, поглядеть сперва, как глина поведет себя весной, когда земля оттает.

Следующей весной, едва сошел снег, поручик Лагерлёф отправился посмотреть на фундамент. Покамест фундамент стоял крепко, трещин не видно, но ведь и весна по-настоящему еще не

началась, и земля не оттаяла.

Ежедневно, и не один раз на дню, поручик спускался на то место. Каменная кладка держалась. Вроде бы земля оттаяла без последствий. Грунт не расползался, был прочен, и поручик рискнул послать за каменщиком и его подмастерьями: дескать, можно приступать к работе.

Каменщики пришли, стали класть стены — восточную и северную, пусть сомнительный грунт на западной стороне тем временем как следует успокоится.

Примерно к летнему солнцестоянию они взялись за опасную сторону, и все вроде как шло благополучно. В середине июля стену сложили почти доверху, ведь каменщики народ шустрый, и вот тут-то заметили в кладке трещины. А потом все разом поплыло-поехало. Пришлось спешно снести несколько рядов кирпича, тогда только стена перестала проседать.

Для поручика Лагерлёфа дело и впрямь принимало тревожный оборот. Он не знал, как быть.

В ту пору, когда пришлось прервать строительство, как раз закончились деньги, полученные от тестя. Однако ж фабрикант Вальрот был человек щедрый и понимающий. Если бы поручик несколькими днями раньше написал ему, объяснил, почему стройка обошлась дороже, чем он рассчитывал, и попросил помочь с завершением строительства, то наверняка бы получил помощь. Но сейчас, после нового провала, поручик писать ему не хотел. Ведь придется признать, что ни крыши, ни пола по-прежнему нету, да и стен тоже, и вообще надобно сызнова начинать закладку фундамента.

Тесть определенно подумает, что он с делом не справился. Потеряет к нему доверие.

У поручика даже мелькала мысль прекратить всю затею со строительством. Хотя и это было ему не по душе. Все его планы идут насмарку. Вдобавок старый скотный двор, того гляди, совершенно развалится.

Перенести строительство на другое место следовало, конечно, давным-давно, но делать это теперь, когда стены наполовину готовы? Большой вопрос, что обойдется дороже: начинать сызнова в другом месте или продолжать на старом.

Есть в Эстра-Эмтервике небольшая фабричка Гордшё, всего в полумиле от Морбакки. В ту пору там проживал брат г-жи Лагерлёф, фабрикант Карл Вальрот, человек умный и осмотрительный, которому поручик доверял, как никому другому. К нему-то он и отправился со своей бедой, спросить совета.

Фабрикант Вальрот решительно посоветовал бросить всю эту

затею:

— Без толку просить у папеньки еще денег на это строительство. Он охотно помогает, но хочет, чтобы деньги использовали с умом. Брать ссуду, чтобы закончить скотный двор, опять-таки нецелесообразно. Неизвестно ведь, сколько раз еще придется перекладывать стену. Этак и разориться недолго в довершение всего.

После этого разговора поручик остался в Гордшё и целый вечер проговорил с шурином и невесткой. Никак ведь нельзя отпустить его домой без ужина. Он старался держаться как обычно, развлекал их смешными замечаниями, но в душе был совершенно парализован. Понимал, что шурин прав, и не обижался на него, но невозможность продолжать строительство нанесла сокрушительный удар по его собственному достоинству.

На обратном пути его одолевали мрачные и странные мысли: уж не из тех ли он людей, что терпят неудачу во всех своих начинаниях?

А ведь было время, когда он считал себя поистине баловнем судьбы. Женился по любви и получил Морбакку, но с тех пор случилось множество неудач.

В отставку с военной службы он подал лишь потому, что получил нагоняй от начальника за пропущенный смотр. Поступок скоропалительный, но это его не печалило. Возмущало его другое — что не стал он после папеньки полковым писарем. Эти обязанности успели разделить между четырьмя письмоводителями. Одна из этих должностей досталась ему, но была незначительной, с незначительным жалованьем.

И попытка углубить Эмтан опять же закончилась неудачей.

На полпути между Морбаккой и Гордшё лежал Ос-Брунн, старинное водолечебное заведение, которое он намеревался модернизировать. Построил там новую купальню, нанял прислугу обоего пола и надеялся, что хворые люди валом туда повалят, но опять просчитался. Иные бедолаги, конечно, приезжали. Но фактически заведение себя не оправдывало.

А теперь вот и с этим строительством потерпел фиаско. Наверно, в нем самом есть какой-то изъян. Наверно, не такой он дельный, как другие. Лучше ему сидеть тихонько, отказаться от своих планов, качаться в качалке, читать газету — и пусть все идет привычным чередом.

Когда он наконец воротился домой, жена сидела на ступеньке крыльца, ждала его.

До чего ж она похожа на своего брата из Гордшё. И умным лицом, и здравомыслием, и серьезностью натуры, и трудолюбием, и безразличием к развлечениям, и отвращением к ненадежности

и авантюризму.

Поручик любил ее, а вдобавок глубоко уважал, как и шурина. Но нынешним вечером предпочел бы, чтоб она ждала его в комнатах. Ведь в этом деле она была ему противницей, как и ее брат.

— Ну, что сказал Калле? — спросила г-жа Лагерлёф, когда они вошли в спальню.

— Он согласен с тобою и всеми остальными, считает, что мне надобно отказаться от строительства, — отвечал поручик.

Г-жа Лагерлёф промолчала. Села на привычное свое место у швейного столика и устремила взгляд в светлую летнюю ночь, даже не думая раздеваться.

Поручик меж тем уже скинул сюртук.

— А ты ложиться не будешь? — спросил он, и по нервозному тону было слышно, что он очень печален и сердит.

— Мне кажется, — негромко и спокойно сказала жена, глядя в окно, — ты должен закончить постройку.

— Что ты сказала? — нетерпеливо переспросил поручик.

Он, разумеется, слышал, что она сказала, но не мог поверить собственным ушам.

— Мне кажется, — повторила она, — ты должен закончить постройку.

— Ты о скотном дворе? — Поручик подошел к жене. Ее слова пробудили в нем слабую надежду, но он не знал, правильно ли ее понял.

Однако г-жа Лагерлёф размышляла об этом весь вечер. Говорила себе, что мужу никак нельзя сызнова потерпеть неудачу. Не пойдет это ему на пользу. Возможно, лучше бы и отказаться от строительства, но он примет это слишком близко к сердцу. Ни брат ее, ни отец не могли этого понять, а она, жена, понимала, и очень хорошо.

В сердцах тех, кого любила, г-жа Лагерлёф читала с такою же легкостью, как в книге, а вот изложить свои мысли словами было для нее в минуты волнения столь же невозможной задачей, как переводить с древнееврейского.

— Я думаю иначе, нежели Калле, — сказала она и замолчала.

— Но к чему же ты клонишь, о чем толкуешь? — спросил поручик, чуть ли не дрожа от нетерпения. Он еще не смел поверить, что она переменила свое мнение и стала на его сторону.

Слыша, как он взволнован, она изо всех сил старалась объяснить получше:

— Я думаю иначе, нежели Калле. Я думаю, ты должен достроить скотный двор, причем на том месте, какое выбрал. И

еще: по-моему, нам нужно взять ссуду под заклад усадьбы, тогда не придется просить денег у папеньки.

Тут поручик наконец-то понял. И воспрянул духом. Ведь коли жена с ним заодно, никаких трудностей более не существует. Под ногами прочная опора, можно возводить стены.

— Благослови тебя Господь за это, Луиза! — воскликнул он.

Приняв такое решение, они словно бы прониклись друг к другу новой нежностью. И с тех пор во всем, что касалось строительства, поручик советовался с женой.

Когда же в конце концов двери нового скотного двора распахнулись, когда коров торжественно, одну за другой, завели в стойла и привязали, когда кур, гусей, индюшек и уток разместили в клетках, а телят в закутах, когда свет потоком вливался в высокие окна, а сами они шли по чистым просторным проходам, оба почувствовали, что проделана хорошая работа, и порадовались, что приняли в ней участие.

Сад

Право слово, мамзель Ловиса Лагерлёф любила брата-поручика и восхищалась им, но никак она не могла понять, зачем ему нужно в усадьбе столько перемен и новомодностей. Ей казалось, Морбакка вполне может остаться такою, какою была при отце с матерью.

И более всего ей не нравилось, что он хотел насадить сад вокруг жилого дома.

Она сильно огорчилась, когда он надумал углубить Эмтан, и обрадовалась, когда эта затея закончилась неудачей. Ведь так красиво, когда речка выходит из берегов и в лугах возникает множество блестящих озерков.

Очень горевала она и когда брат разделался с давними лугами, где росло столько полевых цветов. Сущая отрада для глаз: один луг сплошь белый от поповника, другой — лиловый от анютиных глазок, третий — желтый от лютиков.

И уж вовсе беда, что коровам запретили пастись в лесу. Ведь любому известно, что, если коровы пасутся в лесу, сливки от их молока особенно густые, а масло особенно желтое, не то что когда их пасут в лугах.

При папеньке и наверняка многие сотни лет до него лесную молодь обычно вырубали и оставляли на месте, а как подсохнет, сжигали. Первый год на пожоге сеяли рожь, а после там вырастала уйма земляничника и малины.

Само собой, мамзель Ловиса не одобряла, что брат перестал выжигать молодой лес.

— Помяни мое слово! — сказала она ему. — Скоро все ягоды в лесу переведутся. Где им расти, коли лес не выжигают? Что будет, ежели все возьмут с тебя пример! — добавила она. — Не сидеть нам тогда летними вечерами, не любоваться красивыми огнями в окрестных лесах.

И новый скотный двор тоже не пришелся ей по душе. Дескать, она не больно разбирается в таких вещах, но слыхала, что в кирпичном хлеву никогда не будет благоденствия. А вдобавок ужасно боялась, что брат разорится на этом строительстве.

Когда же поручик отстроил-таки новый скотный двор, снес старый и завел речь о том, что пора сажать новый сад, мамзель Ловиса совершенно вышла из себя.

— Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, — сказала она. — Большой сад требует большого ухода, так что придется тебе нанимать садовника. Лично я считаю так: коли сад не вычищен и не ухожен, лучше его вообще не заводить.

Поручик пропустил ее предостережения мимо ушей. Когда настала осень, он перво-наперво убрал все белые штакетники, что стояли с времен пастора Веннервика, — и те, что окружали огород и розарий, и те, что тянулись вокруг переднего двора и задворков усадьбы.

— Ну все, конец здешнему благополучию, — сказала мамзель Ловиса. — За белым-то штакетником каждый чувствовал себя в безопасности! А дети-то как веселились, когда бегом бежали открывать калитки гостям!

— Тому, кто следил за исправностью всех этих калиток и штакетников, было не до веселья, — заметил поручик Лагерлёф.

Он продолжил начатое. Убрав штакетники, распахал и старый огород, и маленький розарий, и старый вытоптанный двор, и то место, где был старый скотный двор, и загон для телят, расположенный дальше к югу, — чтоб земля отдохнула до следующей весны, когда приступят к закладке сада.

— Ты вправду решил перенести огород? — спросила мамзель Ловиса. — Я, конечно, не слишком разбираюсь, но люди говорят, яблони плодоносят, покуда стоят в огороде, а устроишь вокруг них лужайки, яблочного урожая не жди.

— Ловиса, голубушка, я-то думал, ты будешь рада настоящему саду.

— Рада? По-твоему, я должна радоваться, что ты разрушаешь все давнее? Скоро тут, в Морбакке, вовсе ничего знакомого не останется.

Поручик подумал, что сестра на сей раз необычайно брюзглива, и весьма удивился, тем паче что она всегда любила цветы и ухаживала за всеми комнатными растениями. Но ему не хотелось тогда обидеть ее недобрым словом, ведь немногим раньше она как раз расторгла свою помолвку и еще не совладала с печалью. Целыми днями расхаживала взад-вперед по своей комнате возле кухни, и эти беспокойные шаги долетали до залы, где он читал. Понятно, этакая непримиримость у нее оттого, что она сама не своя. Может, оно и к лучшему, что она заинтересовалась чем-то еще, кроме собственных невзгод. Пусть ей не по нраву его план посадить сад, но лучше уж пускай сердится, чем упорно размышляет о том, не поспешила ли она расторгнуть помолвку, или о том, не наскучила ли она жениху оттого, что вплела брусничник в брачный венец Кайсы Нильсдоттер.

Был тогда в озерной Фрюкенской долине старик-садовник, который в свое время насадил сады во многих больших поместьях. Теперь, на старости лет, он, собственно, перестал работать на других, но слыл подлинным оракулом по части

садового искусства, и когда речь заходила о закладке нового сада, обыкновенно обращались к нему за помощью.

Поручик пригласил его в Морбакку, и по весне, когда снег полностью стаял и земля прогрелась, старик приехал в усадьбу, с планами и чертежами. Под начало ему отдали большое количество работников. Уже доставили множество кустов и деревьев, выписанных из гётеборгского общества садоводов, — можно всерьез браться за дело.

Землю заранее разровняли, и садовник с поручиком целый день ходили вокруг, размечая колышками песчаные дорожки и лужайки.

Садовник объяснил поручику, что теперь не принято следовать строгому французскому стилю, теперь все дорожки должны быть извилисты, а клумбы и лужайки скруглены в свободных и приятных для глаза формах. В Морбакке сад, как он говорил, будет в английском стиле. Впрочем, поручик подозревал, что стиль этот вовсе не заграничное новшество, а изобретение самого старикана.

Посередине двора они разбили большую круглую лужайку, в верхней ее части посадили с одной стороны большую овальную купу кустов, а с другой стороны — вторую, только в форме рога изобилия. В самом центре лужайки поместили плакучий ясень, ближе к веранде разметили цветник в виде звезды, а вокруг, словно стражей, расположили четыре куста французских роз, каждый на отдельной круглой площадочке.

На давнем песчаном участке прямо под окнами кухни разметили большой треугольник, который засадили розами из прежнего розария. Н-да, роз никогда не бывает слишком много. Вдоль фасада жилого дома устроили живую изгородь из низких роз сорта букет, а почетные места — под окном спальни и под окном гостиной — заняли два куста белого шиповника.

Эта работа доставила поручику столько удовольствия, что он весь день ходил за садовником, и г-жа Лагерлёф тоже надолго покидала швейный столик, чтобы посмотреть, как там у них получается. Но мамзель Ловиса сидела у себя в комнате. Радостная весенняя суета только усиливала ее недовольство. Она бы предпочла сохранить старый вытоптанный двор с единственной купой белой американской жимолости возле картофельного погреба. А новшества никому не нужны.

Конечно, она понимала, что ее мнение ничего не изменит, однако ведь и раньше в Морбакке жили себе и жили. А от этих новшеств одни только расходы да большие тяготы.

Тем не менее, работы продолжались, невзирая на ее сопротивление. Возле конюшни садовник устроил живую

изгородь из сирени, вдоль пристройки — из таволги, а с западной, северной и восточной стороны жилого дома — опять из сирени. Затем поручик с садовником взялись за старый веннервиковский сад. Хорошие яблони трогать не стали, только разбили среди них по садовникову английскому образцу извилистые песчаные дорожки и лужайки разной формы. И с большим искусством и расчетом украсили каждую лужайку круглыми, продолговатыми или треугольными клумбами, где высадили декоративные многолетники. Фиолетовые ирисы стояли в обрамлении желтых златоцветов, оранжевые царские кудри — в кайме темно-синего иссопа, а вокруг красных тагетесов красовался венок розовых маргариток.

Цветущие растения вообще сосредоточили возле жилого дома. Поглубже в саду, как с северной стороны, так и с южной, нашлось место для крыжовника и смородины, для грядок с земляникой, для слив, груш и огромного количества вишен. Но дальше всего к югу запрятали огород.

В северной же части усадьбы располагалась густая рощица тонких березок, по краю которой росли черемуха и рябина. Эту рощицу садовник включил в свой план, чтобы таким образом создать хотя бы намек на парк. Среди деревьев проложили множество узких, искусно петляющих щебенчатых дорожек, а в трех местах деревья вырубили, поставили там лавочки и столы. Первую вырубку, продолговатую по форме, лавочки окаймляли со всех сторон. Здесь хозяйка будет принимать своих гостей, и потому это место назвали чайною конторой. Вторая вырубка представляла собой квадрат с четырьмя скамейками возле круглого стола. Она предназначалась для хозяина и его гостей, и садовник в шутку именовал ее пуншевой конторой. Третья, оборудованная кое-как, с одной-единственной узкой скамейкой, была отведена детям, и назвали ее детской конторой.

Но все эти садовые труды не произвели на мамзель Ловису ни малейшего впечатления, она, можно сказать, прямо-таки ненавидела и презирала братову затею. И пока что ни разу не наведалась в новый сад.

В скором времени лужайки зазеленели свежей травкою, новые кусты робко выпустили нежные листочки, на клумбах проклюнулись из-под земли многолетники, дубы, каштаны и пирамидальные тополя, высаженные на месте старого скотного двора, набрали почки, показывая, что живы.

Но в самый разгар работ случилось неожиданное затруднение. Старому садовнику понадобилось на несколько дней съездить домой и заняться собственным садом. Все бы ничего, да только он заложил в Морбакке парник, чтобы вырастить рассаду

астр и левкоев для дворовых клумб.

— Кто присмотрит за парником в мое отсутствие? — спросил садовник. — Ты ведь знаешь, поручик, за парником постоянно нужен глаз да глаз.

— Я сам и присмотрю, — отвечал поручик, поскольку к тому времени чувствовал себя почти что настоящим садовником, и старик показал ему, как надобно проветривать да поливать.

Однако в тот день, когда садовник уехал, небо прояснилось, ярко засияло солнце, и еще до полудня поручик, изрядно встревоженный, пришел в дом и спросил г-жу Лагерлёф.

Та, как нарочно, куда-то ушла, и он прямо-таки ворвался в комнатку мамзель Ловисы:

— Ты должна помочь мне с парником, Ловиса!

Сказал — и в тот же миг сообразил, что мамзель Ловиса ни посмотреть на его сад не желала, ни тамошними работами не интересовалась. Ну да сказанного не воротишь, а на нет и суда нет.

Однако же мамзель Ловиса бодро встала и пошла за ним. Едва бросив взгляд на парник с поникшими и привядшими растеньицами, она воскликнула:

— Солнце для них чересчур яркое. Надобно их затенить.

И она немедля укрыла растеньица от солнца и на сей раз спасла их.

На другой день поручику пришлось ехать на какой-то школьный экзамен, и только на полпути туда он вспомнил про парник. Солнце палило, как и накануне. Ох, сгорит рассада, наверняка сгорит.

Воротившись домой, он сразу поспешил к парнику. Все было в полном порядке. Растеньица стояли свежие, крепкие.

Поручик удивился и призадумался. Выходит, сестра позаботилась о бедняжках, о которых он запамятовал. И незамедлительно решил, что “забудет” полить парник и закрыть его на ночь.

Спустя много времени после ужина поручик вдруг всполошился:

— Господи, опять я про парник запамятовал! Его же давно пора закрыть!

Мамзель Ловиса ничего не сказала, и он поспешил к парнику. Но оказалось, что и окна закрыты, и циновки поверх наброшены.

Наутро поручик даже и не смотрел на парник. Совершенно о нем забыл. Хотя растеньица от этого ничуть не пострадали. Мамзель Ловиса и за чистотой следила, и полола, и поливала, и вообще всячески их обихаживала.

Все, кроме нее, странным образом забыли про парник. Никто

о нем не говорил, никто за ним не приглядывал. Если бы не она, вся рассада давно бы погибла.

Конечно, она с нетерпением ждала возвращения старого садовника, чтобы избавиться от этой работы, но пока его не было, хочешь не хочешь, присматривала за парником.

Между тем садовник задерживался, и растения начали перерастать. Делать нечего, мамзель Ловиса сама высадила их на клумбы.

А уж после ей не оставалось ничего другого, кроме как продолжать все лето прополку и полив, пока левкои, и петуньи, и астры, и львиный зев не распустились пышным цветом.

Когда же звездчатая клумба у крыльца Морбакки расцвела, радуя глаз роскошными красками, острая боль в израненном сердце мамзель Ловисы странным образом утихла. Так маленькие растеньица вознаградили ее за заботу. Подарили новый интерес, новое поле деятельности.

Поручику Лагерлёфу не понадобилось нанимать в Морбакку садовника. Мамзель Ловиса унаследовала даровитость предков, Веннервиков, и взяла заботы о саде на себя. Цветы были ее задушевными друзьями. Они любили ее, а она любила их. Народ диву давался, как она умудряется вырастить их такими яркими да пышными, ведь ничего подобного нигде больше не увидишь. Люди-то не догадывались, что свои краски и пышность цветы черпали в ее былых мечтах о счастье.

Стропила

Когда поручик Лагерлёф и его маленькие дочки гуляли по саду или в полях, они частенько рассуждали о том, как бы все было, если бы в Морбакку приехал король.

Ведь как раз в ту пору король несколько раз в году проезжал через Вермланд, направляясь в Норвегию или из Норвегии, и ему надобно было где-то останавливаться, чтобы поесть и отдохнуть. Чаще всего он останавливался в Карлстаде у губернатора, но, бывало, оказывал честь и большим господским имениям, которые располагались по пути и могли принять его с визитом.

Само собой, не было ни малейшей надежды, что король заедет в столь маленькое, никому не ведомое место, как Морбакка, вдобавок расположенное в стороне от большого тракта. Но ни поручика, ни девчушек это ничуть не смущало. Существуй хоть какая-то вероятность, что подобные фантазии сбудутся, то, пожалуй, обсуждать их было бы не так весело.

Они просто получали удовольствие, представляя себе, как воздвигнут в честь короля триумфальную арку, а когда он подъедет, станут разбрасывать цветы перед его экипажем.

Девчушки рассуждали о том, что короля, должно быть, надобно встречать в белых платьях, и поручик великодушно сулил, что Майя Род, лучшая портниха в Эстра-Эмтервике, сошьет им ради такого торжественного случая новые белые наряды.

Поручик и дети воображали себе, что король, подъезжая к Морбакке, быстро приставит руку козырьком к глазам, как бы затем, чтоб лучше видеть.

“Что это там? — скажет король. — Что за большой белый дом на лужайке? Неужто в этом приходе целых две церкви?”

“Никак нет, Ваше величество, — ответит поручик Лагерлёф, ведь он будет сидеть в королевском экипаже, спиною к вознице, — белая постройка это не церковь, это мой скотный двор”.

Тут король с удивлением посмотрит на поручика, а потом скажет:

“Черт побери, Эрик Густав, какой же ты молодец, что выстроил себе этакий скотный двор”.

Разместить короля со всею свитой в маленьком одноэтажном морбаккском доме — вообще-то задача неразрешимая. Однако поручик неоднократно заводил речь о том, что возведет еще один этаж, поэтому они уговорились, что, как только этаж построят, принять короля будет легче легкого.

Хотя все равно станет тесновато. Поручику и г-же Лагерлёф

придется, глядишь, ночевать на сеновале, а детям — в кроличьих клетках.

Ужас до чего забавно — в кроличьих клетках. Девчушки были в полном восторге.

Потом они придумывали, что король скажет о саде.

Ну, он наверняка будет удивлен, что так далеко от столицы, в сельской глуши, имеется самый настоящий английский сад.

Коли он скажет что-нибудь по этому поводу, поручик немедля пошлет нарочного к старику-садовнику с радостной вестью, что король похвалил его садовые дорожки и цветочные клумбы.

Ну а перед отъездом из Морбакки король преподнесет г-же Лагерлёф золотую брошь, мамзель Ловисе — золотой браслет, а старой экономке — большую серебряную булавку для шали.

Но прежде чем сесть в экипаж и продолжить путь, король пожмет поручику руку и скажет: “Честь тебе и хвала, Эрик Густав Лагерлёф! Ты владеешь лишь малою частицей моей державы, но, как я вижу, хозяйничаешь с умом”.

Этим словам поручик будет радоваться до конца своих дней.

И поручик, и дети получали от этаких мечтаний искреннее удовольствие.

Все-таки, наверное, жаль, что королевский визит не мог состояться, ведь, что ни говори, сперва надо было надстроить этаж.

И представьте себе, в самом конце 1860-х поручик впрямь решил, что все прочее уже сделано, пора обновить жилой дом. Приедет король, нет ли, а в старом одноэтажном доме времен пастора Веннервика жилось весьма тесновато, так что не грех и второй этаж соорудить.

Нельзя сказать, что старый дом не претерпел совершенно никаких перемен. Еще лет восемь — десять назад поручик пробил окна побольше, вместо прежних, низеньких, с мелкими переплетами. Еще он сложил новые изразцовые печи, оклеил обоями гостиную и залу и заменил старое крыльцо большой просторной верандой.

Но теперь предстояли куда б*о*льшие перемены. Всю крышу разберут, поставят более прочные стропильные фермы, а дощатые стены нарастят вверх.

За год до снятия крыши поручик нанял сведущих в строительстве заезжих мастеровых, и они изготовили новые стропильные фермы, чтобы затем как можно быстрее осуществить кровельные работы.

Едва только все было готово, пришла весть о кончине тестя.

Большое горе и тяжелый удар. Поручик сразу почувствовал, что лишился лучшей своей опоры. Впредь ему придется

рассчитывать только на себя. И все долги, какие набрал, платить из собственного наследства. Сыновья подрастали, скоро придет время отправить их в Упсалу. Поэтому он почел за благо отложить перестройку в Морбакке на год-другой.

Но обычно до отложенного руки так и не доходят. Строительству все время что-нибудь да мешало. То поручик чуть не целый год хворал, то пришлось помогать одному из шурьев, прежде богатому, а теперь нуждавшемуся в ежегодном вспомоществовании. Пока поручик трудился в своей усадьбе, наводил там порядок, минули годы, а он толком и не заметил. Ему уже сравнялось пятьдесят, и былая дерзкая предприимчивость, пожалуй, поостыла.

Но от перестройки морбаккского дома он отказался не с легким сердцем. Ведь именно это стало бы венцом его трудов. Всю жизнь он мечтал возвести в своей любимой родной усадьбе настоящий господский дом.

Большие штабеля готовых стропил много лет так и лежали на заднем дворе. Но поручик не любил на них смотреть. Отворачивался, проходя мимо.

Дочки-то ужас как радовались, когда плотники начали рубить эти стропила, причем радовались не только по причине королевского визита. Ведь куда важнее было, что появится салон для танцев и что дом будет двухэтажный, такой же внушительный и красивый, как Гордшё фабриканта Вальрота и Херрестад инженера Нурена.

Они огорчались, что работы из года в год откладываются, и как-то раз одна из них, собравшись с духом, спросила у отца, когда же начнут ставить новые стропила.

— Теперь уж, наверно, никогда, дитя мое, — сказал он, и лицо его дернулось, а голос дрогнул, будто от слез. Однако он поспешил взять себя в руки и шутливо добавил: — Но это не имеет значения. В Норвегию строят железную дорогу. И скоро королю не понадобится просить ночлега ни в Морбакке, ни в другом каком вермландском имении.

Будни и праздники

Послеобеденный сон

Поручик Лагерлёф придерживался твердого убеждения, что, дабы сохранить здоровье и силы на протяжении всей жизни и стать полезными и дельными людьми, детям прежде всего необходимо выработать привычку спать днем.

С этой целью он каждый день, пообедав, брал двух младших с собой в усадебную контору, находившуюся в небольшой пристройке по правую сторону двора.

Помещение было довольно большое и выглядело еще точь-в-точь как во времена давних пасторов, когда там располагалась их приемная. На торцевой стене, прямо против двери, находилось окно, а под ним стояли длинный диван черной кожи да продолговатый столик. У северной стены — кровать, потом черное кожаное кресло, а дальше большой черный письменный стол и высокая шифоньерка. По южной стене опять же стояли кровать и кресло, обитое черной кожей. Но дальше — изразцовая печь, а за нею на стене висели три охотничьих ружья, несколько ягдташей из тюленьей шкуры, большой седельный пистолет и несколько пороховниц. Еще там висели скрещенные рапира и сломанная сабля, а посередине в окружении оружия — лосиные рога.

На восточной торцевой стене, по бокам входной двери, располагались два шкафа — вделанный в стену платяной и книжный. На полу платяного шкафа поручик держал свой красивый денежный сундучок с хитроумным замком и крепкой оковкой, тот самый, что принадлежал полковому писарю и чуток обгорел с одного угла, потому что однажды воры да прощелыги пытались его спалить. В книжном шкафу поручик Лагерлёф хранил большие конторские книги, там же стояли школьные учебники двух поколений. Множество годовых комплектов “Европейского литературного журнала” теснились подле Гомера, Цицерона и Тита Ливия. Сюда были сосланы и истории Петра Великого и Фридриха II, поскольку переплеты у них были картонные, простенькие, серые, а также произведения Вильгельма фон Брауна,[15] правда, не за переплеты, а по другим причинам. На полу там лежал землемерный инструмент тех времен, когда поручик Лагерлёф служил в ведомстве генерального размежевания земли, а кроме того, ящики с удочками, переметами и многими другими вещами.

Когда поручик с дочками входил в контору, первым делом нужно было выгнать мух. Они распахивали двери и окна, поручик Лагерлёф вооружался полотенцем, выгонял им летучую нечисть, а

девчушки снимали фартучки и махали ими. Махали-гоняли, залезали на кресла и столы. Мухи с жужжанием метались по комнате, не желая улетать, но в конце концов все-таки убирались вон.

Изгнав мух, поручик Лагерлёф вешал полотенце на стену, девочки снова надевали фартучки, окна и двери закрывались. Но была там одна муха, прозванная Старой Конторщицей. Она привыкла к ежедневной погоне и ловко пряталась. А как только становилось тихо и спокойно, вылетала и садилась на потолок.

Правда, сызнова охоту на нее не начинали, так как и поручик, и дети знали, что она их перехитрит. С этой мухой покончить невозможно. И они приступали к второму этапу подготовки к послеобеденному сну.

Клали на кожаный диван две кожаные подушки и одну пуховую как изголовье для поручика Лагерлёфа, он ложился, закрывал глаза и притворялся спящим.

Но тут девчушки подбегали и с громкими криками нападали на него. Он отшвыривал их в другой конец комнаты, словно клубочки, а они, как упрямые кутята, немедля возвращались. Дергали его за бороду, ерошили волосы, влезали на диван — словом, отчаянно баловались. Вволю наигравшись, поручик Лагерлёф хлопал в ладоши и говорил: “Ну все, хватит”.

Но толку чуть — все продолжалось по-прежнему. Дети карабкались на диван, мячиками отлетали прочь и снова возвращались.

Немного погодя поручик Лагерлёф дважды хлопал в ладоши и говорил, что в самом деле хватит, игре конец.

Опять без толку, девчушки с криками и смехом бросались на него, опять отлетали прочь и опять возвращались. Однако на сей раз поручик уже вскоре трижды хлопал в ладоши и говорил, что игре вправду конец.

Дети тотчас затихали и забирались в свои кровати. Каждая клала под голову белую подушечку и укладывалась спать.

Через некоторое время поручик Лагерлёф начинал храпеть. Не слишком громко, только вот обе девчушки, которым должно было привыкать к дневному сну, глаз сомкнуть не могли.

Вставать им не разрешалось, шевелиться и разговаривать тоже — надо лежать тихо и смирно.

Они смотрели на тряпичные половики и узнавали старые платья г-жи Лагерлёф и мамзель Ловисы, разрезанные на полоски, из которых связали половики. Смотрели на портрет генерала Мальмборга, висевший на стене между двумя батальными картинами, на чернильницу и ручку, на лосиные рога и ягдташи, на рапиру и знаменитое охотничье ружье по прозвищу

Зайцеубийца. Следили взглядом за узором трещинок на потолке и считали звездочки на обоях, шляпки гвоздей на половицах и клеточки на занавесках. Обе скучали, а время тянулось ох как медленно.

За окном слышались веселые голоса старших детей, которым незачем привыкать к дневному сну. Они гуляли, ели вишни, крыжовник и неспелые яблоки, были счастливы и свободны.

Вся надежда на Старую Конторщицу. Потому что она все жужжала и жужжала возле лица поручика Лагерлёфа, шумела изо всех сил. И если не перестанет, то со временем разбудит его.

Мамзель Брустрём

Случилось это не в наши дни. А давным-давно, в тридцатые годы минувшего века.

В начале осеннего семестра карлстадские гимназисты вели себя на редкость смирно. Ни тебе драк с уличными мальчишками, ни иного озорства. Весь город пребывал в недоумении, радовался и благодарил Создателя, хотя и ощущал одновременно некоторую пустоту.

Но ближе к осенней ярмарке, когда в губернском городе ожидали приезжих со всего Вермланда, гимназисты почувствовали, что должны устроить что-нибудь этакое, ради поддержания своей репутации. Речь-то шла не об одном только Карлстаде, а обо всей провинции. После основательных раздумий, обсудив и отвергнув множество предложений, гимназисты призвали к себе школьника по имени Фредрик Сандберг.

Он, конечно, послушался, так как в ту пору школьникам негоже было противиться гимназистам. Гимназисты начальствовали над ними, и горе тому, кто попробует не исполнить приказ.

Когда Фредрик Сандберг явился, гимназисты облачили его в сорочку с крахмальным воротничком и жабо, в цветастый шелковый жилет, в серые панталоны со штрипками, в синий фрак со светлыми пуговицами и лакированные башмаки. Волосы завили щипцами и взбили надо лбом, натянули ему перчатки, сунули в руки тросточку, а в довершение всего водрузили на голову цилиндр с загнутыми полями. Не будь Фредрик Сандберг так мал ростом, что панталоны складками спускались на башмаки, фалды фрака чуть ли не волочились по земле, а цилиндр съехал на уши, быть бы ему самым элегантным кавалером, который когда-либо фланировал по карлстадским улицам.

Как только Фредрика Сандберга полностью нарядили, ему пришлось отправиться к мамзель Брустрём.

Войдя в мансардную комнату, где обитала означенная особа, он застал ее у печи: она пекла вафли. И одета была не особенно тщательно. Стояла в корсете и нижней юбке, и маленький школяр подумал, что в жизни не видывал таких плеч и икр, таких рук и ступней, такого тела и такой силищи.

— Меня зовут Фредрик Сандберг, — сказал он, — и, с вашего позволения, мамзель Брустрём, я покорнейше прошу вас принять мое приглашение на бал, который состоится в масонской ложе по случаю ярмарки.

Мамзель Брустрём отнюдь не принадлежала к светскому обществу и, разумеется, на ярмарочный бал не собиралась. Но коль скоро ее приглашал столь элегантный кавалер, она и не подумала сказать “нет”, наоборот, сделала перед Фредриком Сандбергом книксен и отвечала, что благодарит за честь и с величайшим удовольствием прибудет.

Фредрик Сандберг обрадовался, что его приняли так благосклонно, ведь все могло бы обернуться и по-другому, со всех ног побежал к гимназистам и сообщил, как прошло дело.

Восемь дней спустя Фредрика Сандберга опять призвали к гимназистам. Опять облачили в крахмальную сорочку с воротничком и жабо, в галстух с пряжкою и шелковый жилет, в серые панталоны со штрипками, в синий фрак со светлыми пуговицами и лакированные башмаки. Волосы завили щипцами и взбили надо лбом, натянули перчатки, сунули в руки тросточку и надели цилиндр с загнутыми полями. А нарядив, опять отправили к мамзель Брустрём.

На сей раз, войдя в мансардную комнату, он застал мамзель Брустрём перед зеркалом, она примеряла красное тюлевое платье. Плечи голые, шея тоже, она нетерпеливо вертелась так и этак и, похоже, была в ужасном настроении.

Фредрик Сандберг смотрел на могучие ручищи, торчащие из красного тюля, на крепкие икры, виднеющиеся из-под коротковатых юбок. Смотрел на эту крупную женщину, ростом вдвое выше его, вдвое шире и вдвое сильнее. Смотрел на тугие щеки, медно-красные, оттого что мамзель Брустрём вечно стояла у печи да пекла вафли. Смотрел на густые черные волосы, буйными лохмами обрамляющие лицо, видел острый взгляд воспаленных глаз, слышал раскатистый голос — и струхнул. Больше всего ему хотелось убежать, но ведь он был послан гимназистами и знал, чем грозит неповиновение начальству.

А потому отвесил мамзель Брустрём поклон:

— Покорнейше прошу вас станцевать со мною на ярмарочном бале первый вальс.

Тем утром мамзель Брустрём вправду одолевали сомнения, она жалела, что согласилась, и раздумывала, идти или нет. Может статься, она бы вообще выкинула бал из головы, не приди Фредрик Сандберг и не пригласи ее на первый вальс.

Она немедля пришла в доброе расположение духа, поскольку теперь была уверена в кавалере. И ответила Фредрику Сандбергу, что польщена оказанной честью и с величайшим удовольствием отдаст ему первый танец.

Ярмарочный бал аккурат в тот же день и состоялся, мамзель Брустрём поднялась в масонскую ложу, среди множества

карлстадских горожан и приезжих на ярмарку. Прошла через дамский салон прямиком в бальную залу и уселась на один из мягких стульчиков, расставленных вдоль стен.

Мамзель Брустрём облачилась в красный тюль, каковой полагала самым что ни на есть красивым, и была вполне собою довольна. Видела, что люди на нее смотрят, но не обращала внимания, ведь раз она приглашена, то, как и все остальные, имеет полное право танцевать на бале. Видела, что у других дам есть знакомые, с которыми они разговаривают, но и на это не обращала внимания, ведь как только заиграет музыка, все увидят, что и у нее имеется кавалер не хуже, чем у других.

Когда полковой оркестр заиграл первый танец, она увидела, как фабричные счетоводы приглашают дочек фабрикантов, поручики — офицерских барышень, а приказчики — дочек лавочников. Каждый пригласил свою, а не то и чужую, но все вышли на середину залы, закружились-завертелись, — все, кроме мамзель Брустрём, которая сидела, дожидаясь Фредрика Сандберга.

Гимназисты расположились на хорах, подле музыкантов, и смотрели, как мамзель Брустрём в красном тюле сидит у середины длиннущей стены, чтобы тот, кого она ждет, без труда ее заметил.

Губернаторша поднесла к глазам лорнет, раздумывая, кто эта крупная разряженная девица у стены. Дочки фабрикантов, глядя на нее, морщили носы, барышни-дворянки недоумевали, как этакая особа могла прийти на ярмарочный бал, но мамзель Брустрём в полном одиночестве сидела на том же месте. Фредрик Сандберг не появлялся, а другие даже не думали ее приглашать.

Отужинали, потом снова начались танцы, благородные семейства уже разъезжались по домам, господа слегка разгорячились, однако мамзель Брустрём по-прежнему сидела на месте.

В конце концов кожевник Грундер все-таки пригласил ее на шведскую польку.

— Да уж, самое время, — сказала мамзель Брустрём.

Сказала так громко, что по всей зале было слышно, и слова эти с тех пор стали у вермландцев поговоркой.

Кожевник весь вечер провел в маленьких комнатах по соседству с залой, резался в карты и знать ничего не знал, теперь же ему захотелось размяться, а других свободных дам не нашлось, вдобавок он не заметил, в каком настроении мамзель Брустрём.

Когда она встала с намерением устремиться в танцевальную суету, кожевник Грундер решил выказать любезную учтивость:

— Как желаете танцевать, мамзель Брустрём, вперед или

назад?

— Все равно, что так, что этак, лишь бы получилось, — отвечала мамзель Брустрём.

Поскольку же голос у нее был зычный, то разнесся он по всей зале, и эти слова тоже стали в Вермланде поговоркой.

На другой день после ярмарочного бала гимназисты сызнова призвали к себе Фредрика Сандберга. Сызнова облачили его в крахмальную сорочку с воротничком и жабо, в галстух с пряжкою и шелковый жилет, в серые панталоны со штрипками, в синий фрак со светлыми пуговицами и лакированные башмаки. Завили волосы щипцами, взбили надо лбом, натянули перчатки, сунули в руки тросточку, водрузили на голову цилиндр с загнутыми полями. И сызнова послали к мамзель Брустрём.

Когда Фредрик Сандберг поднялся в мансардную комнату, она, как раньше, стояла у печки и пекла вафли. И на сей раз была не в тюлевом платье, а в корсете и нижней юбке, и школьник опять подумал, что в жизни не видывал таких рук и ног, таких плеч и икр, такого угрюмого лица, таких всклокоченных волос, такого могучего тела и такой жуткой силищи.

Слова застревали в горле, но трое самых зловредных гимназистов караулили за дверью, а Фредрик Сандберг понимал, что значит впасть у начальства в немилость.

Вот и сказал с поклоном:

— Покорнейше прошу позволения узнать, хорошо ли вы, мамзель Брустрём, повеселились на ярмарочном бале.

Больше рассказывать нечего, ведь как Фредрик Сандберг выбрался из комнаты, миновал всю мансарду, спустился по лестнице и попал на улицу, он и сам не знал, точно так же обстояло и с троицей гимназистов, карауливших за дверью. Эти тоже понятия не имели, как спустились по лестнице. Однако хорошо, что они были там и досталось не одному Фредрику. Радушного приема с избытком хватило на всех.

■

А поручику Лагерлёфу, который учился тогда в карлстадской школе, этот случай неизгладимо врезался в память, и вечерами, сидя в своей качалке, он частенько рассказывал о нем детишкам. Сам он, безусловно, был человек добрый и неопасный, но настоящей озорной проделке мог радоваться без устали, снова и снова.

Путешествие на шабаш

Во времена бабушки, папенькиной матери, жила в Морбакке одна старушка. Зимой она обычно ночевала на кухне, но, судя по всему, думала, что там и без нее полно народу — экономка да пять служанок, — и с наступлением лета спешила перебраться на сеновал скотного двора.

Кровать она себе нашла превосходную, удобную. Устраивала постель в старых, отслуживших свое санях, из тех, на каких много зим кряду возили с бергслагенских плавилен чугун в Чюмсберг, на металлургический завод.

Там она тихо-мирно спала не одну неделю, как вдруг однажды ночью проснулась оттого, что сани двигались. Она села, огляделась. Только ведь ночевала она не в нынешнем скотном дворе, а в старом, пасторских времен, и тамошний чердак освещали всего лишь несколько крохотных оконцев. Снаружи светлая летняя ночь, а бедная старуха ночевала чуть ли не в кромешном мраке и ничегошеньки кругом не видела.

Решила она, что ей привиделся сон, и опять легла. Тишь кругом, и скоро она опять уснула.

Но не странно ли? Едва успела заснуть, как опять пробудилась, оттого что сани двигались. И на сей раз не просто легонько дернулись, а поползли по полу. Заскользили вперед очень медленно и осторожно, однако ж, вне всякого сомнения, зашевелились, будто ожили.

Бедная старуха села, вцепилась обеими руками в края саней. Волосы у нее стали дыбом, подбородок задрожал.

— Боже милостивый, — причитала она, — Боже милостивый, сани-то ползут, ох ползут!

Поди догадайся, что тут за притча такая? Может, старые сани, каждую зиму возившие чугун меж Чюмсбергом и Бергслагеном, не могли спокойно стоять по ночам, может, им надобно было маленько размяться.

А сани прибавили ходу. Подпрыгивали на неровных половицах, рывком одолевали кучи сена и соломы, словно рытвины и взгорки.

— Боже милостивый, — причитала старуха, — Боже милостивый!

Но Господа она призывала напрасно. Сани не унимались, знай себе ехали по сеновалу. Стояло лето, сена там почти не осталось, так что ехали они без помех.

Наконец сани уткнулись в стену и резко замерли.

Казалось бы, всё, угомонились. Ан нет, не тут-то было. Сани

вроде как передохнули минутку-другую и начали пятиться назад, в тот угол, где стояли изначально.

Бедная старуха говорила потом, что, если б аккурат в тот самый миг не смекнула, что творится с санями, наверняка бы повредилась рассудком.

Старым саням не стоялось на месте вовсе не оттого, что в них призраками бродили давние бергслагенские поездки, нет, наверняка кто-то нарочно их подмазал.

Какой-то ведьме то ли в усадьбе, то ли в окрестностях — имен она не называла и даже помыслить не смела — взбрело в голову, что в санях этих отправиться на шабаш куда удобнее, чем на кочерге или на дверной створке.

Мерзкая колдунья, поди, не знала, что в санях обычно ночевала бедная старуха. Ну, как уж там могло быть, она в спешке смекнуть не успела, одно ясно: сани вознамерились выбраться с чердака и махнуть в путешествие. И заместо ведьмы унести с собой на шабаш ее, горемыку.

Боже милостивый! Не помешай стена скотного двора, она бы уже летела над лугами к церкви.

Сани все еще пятились назад, но она понимала: они берут новый разбег, чтобы пробить стену и вырваться наружу. А коли вырвутся — так дальше и полетят над деревьями, холмами да горами. И помчат ее вдаль высоко по-над зеркальной гладью озер, и она ничуть не забоится упасть в воду, а церковные колокольни станет облетать, ровно птица. Далёко улетит, за приходы Стура-Чиль и Грав, но куда в конце концов попадет — об этом даже думать не след.

Боже милостивый, сани сызнова вперед устремились! Ведь впрямь полетят, коли на волю вырвутся. Стена приближалась с такой быстротою, что старуха была совершенно уверена: на сей раз доски не выдержат. Она легла, чтоб не пострадать, когда сани пробьют стену.

Жуткий удар и толчок, но подумать только — стена опять устояла! Хорошо бы, сани заметили, что ничего у них не выходит, и наконец-то угомонились!

Какое там! Сызнова вспять поехали. Видать, щедро их зельем подмазали, сани-то эти. Ежели они сейчас третью попытку сделают, то не иначе как улетят.

Что ж она делать-то будет, когда окажется средь ведьм и прочего воинства тьмы? Само собой, она слыхала россказни про такое, но по-настоящему никогда в них не верила. Людям много во что не верится, пока они собственными глазами не убедятся, что это чистая правда.

Боже милостивый, не введи нас во искушение! Она ведь всю

жизнь безропотно жила в бедности и небрежении. А вдруг ей предложат власть и деньги — устоит ли она тогда? Либо научат словам, которые исцеляют хвори у людей и у скотины, или выгоняют в рост все плоды земные, или пробуждают у молодых людей любовь? Устоит ли она? Н-да, только бы достало сил побороть искушение и сохранить душу для благодати!

Сани и правда взяли разбег в третий раз. Опять ринулись вперед, аж ветер в ушах засвистел. Старуха зажмурила глаза, чтобы не сомлеть. Знала ведь, что моргнуть не успеет, как окажется снаружи и полетит над землею высоко-высоко, будто жаворонок или ласточка.

Шум, грохот. Стена, поди, не выдержала.

Ох, слава Богу, слава Богу! Добрая дощатая стена устояла. Сани развалились. И сей же час у них пропала охота путешествовать, притихли они, угомонились, бедная старуха вылезла из обломков и прилегла на куче соломы отдохнуть после этаких мытарств.

Утром, когда она обо всем рассказала и эта история мало-помалу добралась до бабушки, та решила, что дело и впрямь странное. Она, конечно, свято верила в сверхъестественное, а все ж таки проверить не помешает, порядок есть порядок. Ну а что в разгар лета можно отправиться на шабаш, да еще в санях, такого бабушка в жизни не слыхивала. Поэтому она поднялась на сеновал, хорошенько осмотрела сани и обнаружила, что к ним привязаны крепкие веревки.

Не долго думая, бабушка призвала к себе парнишку-скотника и нескольких его приятелей, учинила им допрос и строго пожурила.

■

Это тоже одна из историй поручика Лагерлёфа про мальчишечьи проказы. У него в запасе было их великое множество, но, когда он рассказывал вот эту и еще про мамзель Брустрём, г-жа Лагерлёф обыкновенно говорила, что на сегодня довольно, детям пора пожелать всем доброй ночи и идти спать.

Песни Бельмана

В половине седьмого утра нянька затапливала в морбаккской детской изразцовую печь, а в семь дети вставали и начинали одеваться.

Когда они были готовы, примерно к половине восьмого, а постели второпях убраны, из кухни приносили поднос, на котором были тарелки каши с розочками из сбитых сливок и большие ломти домашнего хрустящего хлеба с маслом. Такая вот первая дневная трапеза.

Ровно до восьми дети сидели у окна за большим черным письменным столом, учили уроки. Они по-прежнему находились в детской, которая служила и классной комнатой — другой-то у них не было.

Как только часы били восемь, они захлопывали книги, одевались потеплее и выбегали в тусклое зимнее утро. Про погоду вообще не спрашивали, спешили на улицу посмотреть, можно ли на пруду кататься на коньках или лучше покататься по аллее на салазках, ну а если других развлечений не найдется, можно пойти на скотный двор поглядеть на крольчат и повозиться с овчаркой.

Около девяти шли завтракать, обыкновенно к завтраку подавали яйца, или блинчики, или жареную селедку с отварным картофелем, или кровяные лепешки со шкварками и соусом. За большой стол при этом не садились. Все по очереди брали себе еду и устраивались за маленькими столиками.

К девяти завтрак полагалось закончить, начинались уроки. Снова поднимались в детскую, усаживались за большой черный стол и приступали к чтению, письму, счету — так продолжалось до двенадцати. Девочек учил уже не г-н Тюберг, им наняли гувернантку, старшую дочку звонаря Меланоза, Иду. Она унаследовала от отца светлую голову и учительский талант.

В двенадцать — обед за круглым столом в зале. Одна из девчушек читала молитву перед трапезой, другая — после. Поев, они целовали руку отцу и матери и благодарили за обед. За едой они молчали, потому что застольную беседу поддерживал поручик Лагерлёф. Удивительно, что он всегда находил о чем поговорить. Если даже всего-навсего встретил на дороге какую-нибудь старуху, то и эту встречу мог превратить в целую историю.

Между часом и двумя дети снова гуляли, правда, зачастую еще до двух возвращались в дом — повторить уроки до начала послеобеденных занятий.

С двух до четырех сидели за школьным столом, а после четырех делали задания на следующий день.

Но дольше чем до пяти они за уроками не сидели. Опять спешили на улицу и на сей раз отправлялись к по-настоящему крутой горке, расположенной подальше от дома. Одно время они катались на больших деревянных санках, и было это невероятно весело.

По возвращении домой их ждал приятный часок. В зале топилась печь, на сложенном ломберном столе стояли сливочное масло, хлеб и кувшин с питьем. Детям очень нравилось, сидя или лежа у огня, есть хлеб с маслом. Они болтали, придумывали, чем бы заняться. Собственно, только в этот час они и могли делать, что заблагорассудится.

Когда дрова в печи окончательно прогорали, на круглом столике возле дивана зажигали лампу. Теперь за обучение принималась г-жа Лагерлёф, учила дочек шить, вязать крючком и на спицах. У нее был экземпляр “Сказок” Х. К. Андерсена, и когда она полагала, что работа шла успешно, то в награду обычно читала или пересказывала “Попутчика”, “Огниво” и “Диких лебедей”. В книге имелись также замечательные и веселые рисунки. Рассматривать их было почти так же занимательно, как и слушать сказки.

В восемь ужинали, вот тогда и появлялся поручик Лагерлёф. До тех пор он сидел в конторе, писал в своих больших бухгалтерских книгах.

А теперь, после долгого дня, полного трудов и строго расписанного, наконец-то можно было дать себе волю. Дети откладывали рукоделие, поручик усаживался в кресло-качалку и рассказывал школьные истории вроде той, про мамзель Брустрём, или расписывал несравненную Дженни Линд в роли Нормы или Дочери Полка[16] и Эмилию Хёгквист в роли Орлеанской Девы.[17]

А иной раз, когда был не расположен к разговорам, он просил г-жу Лагерлёф или мамзель Ловису почитать вслух из Тегнера. По его мнению, не было на свете ничего лучше “Саги о Фритьофе”. Он бы предпочел быть лундским профессором, воспевшим любовь Фритьофа и Ингеборг, чем французским императором или русским царем. Очень высоко он ставил и Рунеберга[18] и любил слушать как “Сказания прапорщика Столя”, так и эпические его стихи. Но не любил, когда иные говорили, будто финский поэт выше Тегнера.

Порой — и это было самое замечательное — он садился за старое фортепиано, брал несколько аккордов и восклицал: “Идите сюда, дети, споем-ка Бельмана!”

Девочек не надо было просить дважды. Они тотчас подбегали

к нему и бодро-весело запевали Бельмана. Начинали всегда со “Старца Ноя” и “Иоакима в Вавилоне”. Потом пели про Папашу Мовица и Петушиную Мамашу, про танцмейстера Мольберга и его печальное кабацкое приключение.

Поручик Лагерлёф барабанил по клавишам аккомпанемент и тихонько подпевал, чтобы держать такт и мелодию. А дети распевали во все горло — на весь дом было слышно.

Жизнь била ключом. Бодрое веселье после хлопотного дня. Дети не очень-то понимали, о чем поют, но мелодии согревали и будоражили их оцепенелые жизненные силы. Ах, как замечательно звучало: “Вот пляшет Утла! Юбкой кружевной взмахнула” или когда Фредман пел, что до понедельника далёко, как от севера до юга! И разве могли они не веселиться, когда вечный неудачник Мольберг бухнул в чан, где кабатчик держал селедку с тузлуком, или когда на большой морской прогулке подавали пирог, посыпанный сахаром, корицей и анчоусами?

Но самое замечательное — петь разрешалось сколько угодно. Поручик их не останавливал. И не поправлял. Никогда не мешал им напоминаниями, что-де в пении существуют такие вещи, как модуляция и слаженность. И они не сомневались, что поют Бельмана совершенно правильно, именно так, как надо.

На стене над фортепиано у поручика висел портрет Карла Микаэля с лютней на коленях, и обычно он поглядывал на поэта, словно ожидая, что несравненный пошлет ему одобрительную улыбку.

Как-то раз в Морбакке гостил подпрапорщик фон Вакенфельдт. Сидел по обыкновению в углу возле печки, беседовал с мамзель Ловисой, поручик же меж тем сел за фортепиано, и дети, собравшиеся вокруг него, во все горло затянули Бельмана, в твердой уверенности, что поют как надо.

— Не странно ли, что ни у кого из детей нет голоса, — шепнула мамзель Ловиса подпрапорщику.

— Н-да, с отсутствием певческого голоса они ничего поделать не могут, — отвечал тот, тоже тихонько. — Но не мешало бы хоть немного использовать слух!

— Удивительно, ведь родители оба так музыкальны. Вы согласны, Вакенфельдт? — вздохнула мамзель Ловиса. — Не понимаю, как Густав только выдерживает.

— Ему это слышится не так, как нам, — сказал подпрапорщик. — Он любит своих детишек больше всего на свете.

— Да, обычно говорят, что человек смотрит глазами любви, — отозвалась мамзель Ловиса. — Наверно, можно и слушать ушами любви.

— Безусловно! — воскликнул подпрапорщик фон

Вакенфельдт, а он знал, что говорит.

Случилось так, что одна из маленьких певиц ненароком подслушала этот разговор, а потом рассказала остальным, и без последствий не обошлось: мало-помалу распевать Бельмана в Морбакке перестали.

Но на долгие годы, на всю жизнь любовь к песням Бельмана сохранилась в сердце каждого из морбаккских детей. Они любят эти песни не только за их веселье, и печаль, и трепетную красоту, а за то, что малейший звук бельмановской лютни пробуждает в памяти неподдельную, искреннюю нежность, которая подарила их детству столько счастья.

Мальчики и девочки

Летом 1866 года в Морбакке собралась необычайно многочисленная детская компания.

Во-первых, Даниэль и Юхан Лагерлёфы, сиречь сыновья хозяев усадьбы, а еще Теодор, Отто и Хуго Хаммаргрены, то бишь их двоюродные братья по отцу, которые вместе с родителями гостили тем летом в Морбакке. Затем Эрнст и Клас Шенсоны, двоюродные братья с материнской стороны, которые опять-таки все лето жили в Морбакке. Но и это не все, можно прибавить сюда Германа, Бернхарда и Эдвина Миленов из соседней усадьбы да Адольфа Нурена, который жил в имении Херрестад неподалеку от церкви, однако несколько раз в неделю приходил в Морбакку поиграть и развлечься в обществе других мальчиков.

Кроме того, нельзя не упомянуть Анну, Сельму и Герду Лагерлёф, хотя Герде было всего-навсего три года и она вроде как не в счет, да и Анна с Сельмой фактически тоже не в счет, при таком множестве мальчишек.

В то лето мальчишки нашли себе более приятное и интересное занятие, нежели в прошлые годы. Первые недели все шло как обычно. Они собирали ягоды, качались на качелях, спали в зеленой траве, стреляли из лука, катали обруч, играли в подвижные игры, но в один прекрасный день заскучали. Решили, должно быть, что у них слишком много свободного времени и пустых забав, и начали поговаривать, что надо бы подыскать какое-нибудь серьезное и полезное дело.

Тогда-то они и обратили внимание на небольшой лесок, расположенный прямо за подъездной аллеей; с одной стороны его ограничивала дорога с придорожной канавой, а с другой — отвесный склон Осберга. С севера тянулась жердевая городьба, а с юга — глубокий песчаный карьер, так что весь участок размером приблизительно в одну шестнадцатую туннланда[19] лежал обособленно и уединенно.

Осмотрев его поближе, мальчишки обнаружили, что там полно большущих каменных глыб, а растительность состоит в основном из кустов можжевельника, молодых елочек и папоротников. На севере по участку протекал ручей, который в разгар лета, несомненно, пересыхал, но на его берегах пышно кустился ольховник. В расселинах Осберга рос солодковый папоротник, который мальчишки очень ценили, у южного края высились четыре большие ели, а в самой середине стояла большая ветвистая сосна. Казалось, совершенно девственное место, где обитали одни только белки, дятлы да кусачие лесные

муравьи.

Вот мальчишки и придумали насадить в этом диком краю блага цивилизации, решили заделаться тамошними колонистами. Перво-наперво каждый выбрал себе местожительство. Теодор Хаммаргрен — в свои шестнадцать лет он-то и верховодил в этой затее — облюбовал высокую каменную глыбу, которая этакой башней возвышалась над округой и с которой открывался прекрасный вид на всю колонию. Даниэль Лагерлёф — ему было пятнадцать, второй по старшинству и авторитету — присвоил четыре высокие ели и живописную горную кручу за ними. Юхан Лагерлёф и Отто Хаммаргрен, закадычные друзья и школьные товарищи, стали компаньонами и решили устроиться на “дальнем севере”, где высохший ручей и ольховник. Двенадцатилетний Эрнст Шенсон удовольствовался бесформенной каменной глыбой, и все диву давались, какая ему от этого радость. Его брат Клас, маленький мальчуган, тоже выбрал себе каменную глыбу, но остальные считали, что его выбор удачнее, ведь рядом рос тенистый куст можжевельника. Хуго Хаммаргрен потребовал себе большую сосну, и никто с ним спорить не стал. Десятилетний Герман Милен подыскал для себя поваленную ветром пушистую ель с торчащими вверх корнями. Его младшие братишки Бернхард и Эдвин, восьмилетние близнецы, едва не остались ни с чем, но в конце концов каждому отвели по еловому пеньку. В тот день, когда происходил дележ, Адольфа Нурена в Морбакке не было, а когда он пришел и потребовал свою долю, поднялся большой переполох, так как все удобные места оказались уже заняты. К счастью, Теодор Хаммаргрен сообразил определить его на горный уступ, и беспорядки утихли.

Однако ж если Анна с Сельмой надеялись, что им тоже отведут жилье в новой колонии, то их постигло жестокое разочарование. Они ведь всего-навсего девчонки — никому из мальчишек в голову не пришло, что им тоже охота поучаствовать.

Новоселы-мальчишки вели у себя в колонии жутко интересную жизнь. Теодор Хаммаргрен, натаскавши мха, сделал на своей башне мягкое сиденье, а еще соорудил каменную лестницу, так что легко мог и наверх подняться, и спуститься. Даниэль Лагерлёф расчистил землю между елками и горной кручей и устроил там маленькую гостиную с выстланными мхом каменными лавочками по трем сторонам — самое замечательное из всех жилищ. Юхан и Отто сложили в своем ольховнике полукруглый диван из дерна. Все их хвалили: тоже весьма удачное жилье. Эрнст Шенсон сделал себе широкую моховую лавку, спинкой для которой служила каменная глыба, а вот его братишка Клас предпочел лентяйничать, валялся на земле под

своим можжевеловым кустом — неохота ему было собирать камни да мох и мастерить скамью. Хуго Хаммаргрен выпросил у поручикова столяра обрезки досок и прибил их на сосне, так что получилось превосходное сиденье. Адольф Нурен соорудил на каменном уступе моховую лежанку и, забравшись туда, чувствовал себя превосходно. Герман Милен вырыл пещеру под корнями упавшей елки, и даже маленькие близнецы наложили мха на свои пеньки.

Но Анне и Сельме ни строить ничего не досталось, ни налаживать. Одинокие и заброшенные, они слонялись по усадьбе, не зная, чем бы себя занять.

По мере того как колонистское общество развивалось, у мальчишек становилось все интереснее и интереснее. Вскоре они ощутили потребность в настоящей администрации и правосудии, и Теодор Хаммаргрен был избран верховным правителем и судьей. Даниэль Лагерлёф заделался директором монетного двора и начал выпускать бумажные ассигнации, Юхан стал ленсманом, а Отто Хаммаргрен — становым приставом. И едва только в колонии появились деньги, все начали покупать и продавать — каменоломни, щебеночные карьеры, моховины, валуны, землю. Кое-кто преуспел в делах и разбогател, только Хуго Хаммаргрен и Герман Милен оказались транжирами, а вдобавок провинились в том, что посягнули на солодковый папоротник с чужого участка, поэтому ленсман посадил их под арест в старой кузнице, которая располагалась совсем рядом, возле дороги.

Анна и Сельма гуляли возле дома одни-одинешеньки. И Анна Лагерлёф говорила: если мальчишки опять попросят ее связать для них мяч, она нипочем не согласится, и леденцы в другой раз пускай сами варят. Сельма же Лагерлёф, которой было всего-навсего семь, никак не могла придумать, чем бы насолить мальчишкам, но хотя бы тележку свою ни за что им не даст, чтобы возить щебень.

Жизнь в колонии била ключом, и все мальчишки в один голос твердили, что никогда им не бывало так весело. Например, они регулярно устраивали собрания, где обсуждали государственные дела. Приняли постановления о прокладке дорог и строительстве большого каменного моста через канаву, отделявшую колонию от внешнего мира. Согласно плану, все мальчишки старше двенадцати будут ломать камень и заниматься расчисткой, а малыши — таскать щебень. Но, как выяснилось, Герман Милен и Хуго Хаммаргрен участвовать в работе не желали, что привело к серьезным разногласиям. Хуго и Германа сочли отщепенцами, которым закон не писан. Они даже кузницы не боялись, и никто

не знал, чем их вразумить.

Анна с Сельмой по-прежнему гуляли возле дома и пытались развлечься, стреляя из заброшенных мальчишками луков и катая их обручи. Обе уверяли, что развлекаются ничуть не меньше, чем зимой, когда все мальчишки в школе. И Анна сулила, что никто из мальчишек никогда больше не увидит ее большую куклу, подарок тетушек, а ведь кукла-то ростом в целый локоть, в чулочках, в туфельках, в корсете со шнуровкой и в кринолине, у нее есть кровать с подушками и постельным бельем, и сундук для одежды, и вообще все-все.

Между тем общественная жизнь в колонии набирала многообразия. И в один прекрасный день кто-то на собрании предложил открыть трактир.

Предложение одобрили, и трактирщиком был назначен директор монетного двора Даниэль Лагерлёф, потому что он владел самым просторным жилищем.

Однако новый трактирщик, судя по всему, посчитал, что удовлетворять потребности клиентов в сладком домашнем квасе, дикой малине, неспелых яблоках и солодковом папоротнике — дело весьма утомительное. Тут-то он и вспомнил про своих сестер.

Отправился прямиком в усадьбу и нашел обеих у пруда, где они пускали мальчишечьи кораблики, рассуждая о том, что никогда больше не станут играть с мальчишками, да что там играть, даже взглядом их не удостоят.

— Идемте-ка со мной в колонию, девочки, будете у меня в трактире подавальщицами, — сказал брат.

И Анна с Сельмой тотчас забыли про кораблики. Словом не обмолвились, что до сих пор были в полном пренебрежении, предоставлены самим себе. Молча пошли за братом, на седьмом небе от счастья.

Старый солдат

Однажды чудесным осенним вечером Большая Кайса, которая уже не служила нянькой в Морбакке, а зарабатывала на жизнь тканьем, шла себе по лесу.

Направлялась она по заданию поручика Лагерлёфа в родной хуторок на вершине лесистого холма, а поскольку до сих пор водила дружбу с Сельмой Лагерлёф, взяла ее с собой на прогулку.

Шли они не торопясь. Ели бруснику, что росла возле дороги, любовались красивыми мухоморами, набрали полные фартуки превосходного мха, чтобы дома устроить между оконными рамами в детской красивую прокладку. Большая Кайса радовалась, что снова очутилась в лесу, где ей знаком каждый бугорок, каждый камень.

Когда они, наконец, подошли к плетню, окружавшему вырубку с хутором, и собрались воспользоваться перелазом, Большая Кайса сказала:

— Не забудь, Сельма, при папане говорить про войну негоже.

Девчушка очень удивилась. Она знала, что отец Большой Кайсы служил в солдатах и сражался под Лейпцигом против Наполеона, но даже представить себе не могла, что с ним нельзя об этом говорить.

— А почему мне нельзя говорить с ним про войну? — спросила она.

— Ни с кем, кто воевал взаправду, про это говорить нельзя, — отвечала Большая Кайса.

Девчушка удивилась еще больше. Подумала о Фритьофе и о Яльмаре, о Гекторе и прочих стародавних богах и героях, про которых читала в книжках, и голова у нее пошла кругом.

Между тем они вошли в избу, отец Большой Кайсы сидел на шестке, грел спину у огня. Сразу видно, человек из давней эпохи, ведь он носил штаны до колен и обут был в башмаки, а не в сапоги. Высокий, худой, с грубым морщинистым лицом, на плечах грязный-прегрязный овчинный полушубок, но в остальном самый обыкновенный старик-крестьянин.

Все время, пока они находились в избе, девчушка глаз не сводила со старика, который запрещал говорить при нем о войне. Сама-то она не ведала ничего более увлекательного, чем слушать про войну или читать про нее рассказы. Жаль, что нельзя расспросить его обо всем, что он повидал.

Сидя в горнице, она слова вымолвить не смела. Знала, что если откроет рот, то непременно отпустит что-нибудь про войну, а тогда старый солдат, чего доброго, ее убьет.

Смотрела она на него, смотрела, и показалось ей, что выглядит он жутковато. Ведь совершенно необъяснимо, что нельзя говорить с ним про войну. Не иначе как тут кроется что-то ужасное, непостижимое для нее. Она чувствовала: этот старик опасен. Скорей бы уж уйти отсюда. Ей не терпелось выбежать за дверь.

С каждой минутой страх нарастал, и когда Большая Кайса наконец-то завершила свои дела и пришла пора прощаться, девчушка была вне себя от страха перед стариком.

А вот если бы он, как другие старые солдаты, сказал, что лучше войны ничего на свете нет, и похвастался, что убил сотни людей и сжег множество деревень и городов, девчушка нисколько бы его не боялась.

Земля надежды

Жили в Морбакке Ларс из Лондона, Свен из Парижа, Магнус из Вены, Юхан из Праги, Пер из Берлина, Олле из Маггебюсетера, конюх да парнишка-батрак.

И Ларс из Лондона, и Свен из Парижа, и Магнус из Вены, и Юхан из Праги, и Пер из Берлина — это никакие не иностранцы, а поденщики в Морбакке. Дело в том, что поручик Лагерлёф забавы ради назвал хутора своих арендаторов в честь славных европейских столиц.

Ларс из Лондона и Магнус из Вены целый день распахивали участок пониже скотного двора. Свен из Парижа задавал корм коровам, а заодно пособлял на картофельном поле. Юхан из Праги копал картошку, а вот Пер из Берлина вовсе ничего не делал. Из-за ломоты в спине не мог работать, и сейчас, чтобы маленько развеяться, отправился в господскую усадьбу. Конюх обихаживал лошадей в конюшне, а временами колол дрова. Батрак трудился на картофельном поле. Олле из Маггебюсетера вообще по хозяйству в усадьбе не работал. Пришел в Морбакку прикупить шеффель ржи.[20]

Стояла осень, моросил дождь, аккурат настало время вечерять, с половины пятого до пяти, и все они зашли в людскую. Ноги в грязи, одежда отсырела, и мужики были хмурые, недовольные.

Растопили печку пожарче и устроились вокруг. Ларс из Лондона, арендатор самого большого хутора и самый дельный из работников, сел на колоду прямо против огня, а Магнус из Вены, почти такой же хороший работник, как Ларс из Лондона, расположился подле него на трехногом сапожном стульчике. Свен из Парижа, который считал себя ничуть не хуже других, хоть и обихаживал скотину на скотном дворе, уселся на шесток, спиной к огню, и даже не спросил, не загораживает ли кому тепло. Юхан из Праги занял второй сапожный стульчик, а старикан из Берлина — дровяные козлы, немного позади остальных. Конюх, болтая ногами, устроился на краю кровати, батрак взгромоздился на верстак, а Олле из Маггебюсетера сел возле двери на бочонок с красной краской и поставил ноги на купленный мешок с рожью.

Ларс из Лондона, Магнус из Вены, Юхан из Праги и Свен из Парижа развязали узелки с харчами, достали по ломтю мягкого ржаного хлеба с кусочком масла посередине. Потом вытащили ножи, висевшие в кожаных ножнах под передниками, обтерли их об штаны, размазали масло по ломтям и, отрезая по кусочку, принялись закусывать в свое удовольствие. Парнишку-батрака

послали на кухню за ужином для него самого и конюха. Воротился он с двумя большими краюхами ржаного хлеба, двумя кусочками масла и двумя ломтями сыра из снятого молока. Однако Пер из Берлина, который в тот день в усадьбе не работал, узелка с харчами не захватил, как и Олле из Маггебюсетера, который пришел купить ржи, поэтому оба сидели да пялились на едоков.

Смолье в печи горело-потрескивало, тепло распространялось по людской, отсыревшая одежда подсыхала, комья глины отваливались от сапог.

Когда хлеб с маслом был съеден, Ларс из Лондона, Магнус из Вены, Свен из Парижа, Юхан из Праги, конюх и батрак — все, как один, извлекли из карманов штанов связочки табаку. Тут и малый из Берлина не отстал от других, табачок у него был при себе. Только хуторянин из Маггебюсетера даже табаку не имел в кармане.

Сызнова в ход пошли ножи, каждый отрезал кусок от табачной связочки, положил на передник, раскрошил. Потом достали коротенькие трубки-носогрейки, опять же спрятанные под передниками, набили их табаком.

Ларс из Лондона поднял с полу лучинку, зажег ее в печке. Раскурил свою трубку и передал огонек Магнусу из Вены. Магнус из Вены передал лучинку Свену из Парижа, Свен из Парижа — Юхану из Праги, Юхан из Праги — Перу из Берлина, сидевшему на козлах у него за спиной. Пер из Берлина наклонился, передавая огонь конюху, конюх тоже раскурил трубку, а горящую лучинку так и держал в руке, пока батрак не подошел и не взял ее. Олле из Маггебюсетера, само собой, огонь не требовался, поскольку у него не было ни трубки, ни табаку.

Остальные между тем согрелись и закусили, и окружающий мир казался им теперь не таким унылым.

Олле из Маггебюсетера было семьдесят, его мучила подагра, пальцы скрючились, голова склонилась к плечу. Спина сутулая, зрение ослабло, одна нога короче другой, сил мало, да и с рассудком обстоит плоховато. Невзрачный, беззубый, вдобавок последние полгода гребенки в руки не брал и не мылся, в бороде полно сена да щепок.

Он держал маленький хуторок глубоко в лесу, однако ж дельным работником никогда не был и не сумел выбраться из бедности. Ходил вечно недовольный, надутый и друзей никогда не имел.

Когда людская наполнилась дымом чужих носогреек, он сказал себе под нос:

— Всю жизнь я мыкал нужду, а вот намедни слыхал, будто

есть такая страна, Америка называется, хочу уехать туда.

Остальные сидели, погрузившись в приятные размышления. Никто ему не ответил.

И Олле из Маггебюсетера продолжал:

— В Америке-то, сказывают, только возьми палку да стукни по скале, так мигом водка польется. Охота мне поглядеть на энту вот землю, прежде чем помру.

Остальные и на сей раз слова не сказали. Сидели молча, глядя перед собой и легонько усмехаясь.

Но Олле из Маггебюсетера не сдавался:

— И никто не заставит меня торчать тут в тоске да нужде, коли я знаю, что есть страна, где из горы водка хлещет.

Остальные по-прежнему молчали, хотя ни слова не пропустили из рассуждений Олле из Маггебюсетера.

— А листья на тамошних деревьях из чистого золота, — сказал старый горемыка. — Незачем там поденничать по чужим дворам. Идешь в лес, рвешь листья да покупаешь что душе угодно. Не-ет, я впрямь должон туда поехать, хоть и на старости лет.

Настроение у всех в людской было благостное. Они прямо воочию видели эту землю, где можно качать водку из горы и рвать с деревьев золотые монеты.

Но тут зазвонили в колокол, отдыху конец.

Сызнова надо выходить в изморось и слякоть. Ларс из Лондона вернулся к плугу, Магнус из Вены поплелся за ним помогать. Свен из Парижа, Юхан из Праги и парнишка-батрак пошли копать картошку. Пер из Берлина зашагал к себе на хутор, конюх принялся колоть дрова на вечер, а Олле из Маггебюсетера направился к лесу с мешком ржи за плечами.

И ведь ни один не выглядел таким хмурым, как полчаса назад, в глазах появился живой огонек.

Все они думали, что хорошо, когда знаешь — пусть даже край этот далеко-далеко и им никогда туда не добраться, — все равно хорошо, когда знаешь, что есть край, где из гор хлещет водка и растут золотые леса.

Сезон корюшки

К востоку от Морбакки поднимается лесистая горная гряда, а к востоку от нее расположено озерцо под названием Гордшё. В озерце водится рыбка, которую называют корюшкой. Мелкая, длиной примерно два дюйма, голубовато-белая и тонкая, чуть ли не прозрачная.

Хоть и мелкая рыбешка, но съедобная, и в ту пору, когда в Морбакке жил поручик Лагерлёф и все обстояло много лучше, нежели сейчас, ловили ее в огромных количествах. Нерестится она весной, едва только лед отходит от берега, и тогда можно было, стоя на льду, вычерпывать ее ковшами и ведрами. Никто даже не трудился ловить корюшку сачком.

В другое время года корюшку вообще не ловили и не продавали. Вот почему, когда один из гордшёских рыбаков приносил на кухню в Морбакке первую корюшку, это была подлинная примета весны. И сам рыбак знал, что пришел с желанным товаром. Он быстро поднимал ручку кухонной двери, ведь раньше никаких замков с ключами в помине не было, и топал внутрь, решительно, чуть ли не с вызовом. Не останавливался, как обычно, у порога, не здоровался, не ждал, когда спросят, какое у него дело. Широкими шагами подходил к большому кухонному столу и ставил на него клетчатый голубой узелок.

После этого он отступал к двери и стоял там, гордо вскинув голову, ждал, что будет.

Если на кухне не было никого, кроме экономки и служанок, ему приходилось довольно долго стоять у порога, ведь они считали, что выказывать нетерпение и любопытство никак нельзя. Но если при сем случайно присутствовали и дочки поручика Лагерлёфа, то все три немедля устремлялись к столу, развязывали узелок и смотрели, что в нем. Внутри обнаруживалась фарфоровая тарелочка с голубым пейзажем по краю, знакомая не первый год. Посредине тарелочки лежала кучка корюшки, четыре-пять десятков рыбешек, не больше.

Корюшка — рыбка вкусная, если ее правильно приготовить, однако ж деликатесом не считается. В других окрестных усадьбах полагали ее пищей бедноты, но не в Морбакке. Поручик Лагерлёф так любил рыбу, что готов был чуть не круглый год питаться только ею. А после нереста налима в феврале ему приходилось довольствоваться вываренной в щелоке треской, сушеной щукой, соленым лососем, соленым сигом, соленой ряпушкой, не говоря уже о соленой селедке. Каждый божий день он ходил и думал,

скоро ли пойдет корюшка.

Девчушки, стало быть, привыкли относиться к корюшке с уважением и потому ужасно радовались, увидев, что лежит на голубой тарелочке. И громко сообщали об этом экономке и служанкам. Те поневоле шли смотреть. Ба, корюшка! Лассе корюшку принес. Ну не замечательно ли? Красота!

Поголовно вся кухня ликовала. Экономка тотчас шла в кладовку и делала рыбаку бутерброд в знак того, что он желанный гость, и, протягивая ему ломоть, даже благоволила поинтересоваться, хороши ли виды на лов. А рыбак, суровый и уверенный в себе, ведь то был день его величия и славы, в дерзости своей шутил с экономкой — представьте себе, с самой старой морбаккской экономкой! — и говорил, что корюшки, похоже, будет столько, что поручику Лагерлёфу не скупить ее, потрать он хоть все свои богатства.

Мамзель Ловиса Лагерлёф у себя в комнате начинала гадать, что означают громкие разговоры за дверью, и выходила на кухню.

Заметив рыбака и тарелку с корюшкой, она восклицала:

— О Боже мой, неужто сызнова эта напасть!

Девчушки испытывали огромное разочарование, оттого что тетушка Ловиса не разделяла всеобщего восторга. Впрочем, и она все-таки сознавала важность события, поскольку что-то тихонько говорила экономке, а та слегка улыбалась и одобрительно кивала.

Затем детям и прислуге наказывали не говорить поручику Лагерлёфу про корюшку. Пусть за ужином это станет для него приятной неожиданностью.

Сообразив, о чем речь, три девчушки радовались еще сильнее. Потому что папенька был им лучшим другом и товарищем по играм и они желали ему всяческого добра. Теперь они напускали на себя невероятную важность и деловитость и ни под каким видом не хотели уходить из кухни. Просили позволения почистить рыбу. Ведь по прежним годам хорошо знали, как это делается. Надо одним движением отрезать голову, вторым — вытащить внутренности, и готово. Рыбешка такая мелкая, что нет у нее ни чешуи, ни колючих костей, как у других рыб. И хвостовой плавник срезать не нужно. Если его срезают, то конечно же понятия не имеют, как обращаться с корюшкой.

Вычищенной корюшкой занималась экономка, но девчушки глаз не сводили с рыбок, наблюдали за готовкой. Корюшку прополаскивали водой, обваливали в муке и отправляли на сковородку. Только вот просто бросать этих малюток на сковородку и жарить никак нельзя. Их укладывали вплотную друг к дружке. С огромным терпением экономка клала на сковородку рыбку за рыбкой, в один слой, чтобы ни одна не налезала на

другую.

Затем малюток-корюшек жарили на большом огне, в результате они спекались, и экономка разом переворачивала лопаточкой весь этот блин. Обжарив его с другой стороны, так что рыбки становились золотисто-коричневыми и жесткими, как щепки, она брала лепешку плотного овсяного хлеба, накрывала сковородку и переворачивала ее вверх дном — рыба оказывалась на хлебе. Таким манером экономка поступала только с корюшкой, ни с какой другой рыбой, и говорила детям, что научилась этому у старой хозяйки. В давние времена каждому мужчине подавали на стол лепешку хлеба и лепешку корюшки, потому что тарелок тогда было не столько, сколько сейчас.

Пока корюшку жарили, три девчушки изнывали от страха, как бы поручик Лагерлёф не явился на кухню и не увидел рыбку. То и дело одна из них выбегала в переднюю, приоткрывала дверь залы, чтобы удостовериться, что он спокойно сидит в качалке и читает “Вермландстиднинген”. А когда он вставал, намереваясь отправиться на обычную вечернюю прогулку, сердце у них замирало от испуга. Вдруг он вздумает пройти через кухню! Вдруг решит сказать доброе слово экономке!

Когда наконец наступало время ужина и все садились в зале за круглый стол, три девчушки едва сохраняли серьезность. Взглянув на папеньку, сразу начинали хихикать. Хуже всего приходилось младшей, которая читала перед ужином молитву. Посреди оной она тихонько хихикала, точь-в-точь как воробышек пищит при виде овсяного зернышка, поручик открывал рот, желая спросить, в чем дело, но, к счастью, замечал блюдце с корюшкой, которое стояло возле его тарелки.

Тут поручик Лагерлёф сиял от восторга.

— Слава Богу, наконец-то в доме опять появилась еда! — восклицал он, совершенно искренне, потому что считал едой только рыбу, а не говядину и не свинину.

Дети звонко хохотали после долгого напускного спокойствия, а поручик грозил им пальцем и качал головой:

— Ах, негодницы! Вот почему вы весь вечер сновали туда-сюда, не давали мне спокойно почитать газету!

Дальше ужин проходил весьма оживленно. Поручик всегда отличался разговорчивостью и хорошим настроением, а уж когда радовался чему-то, бывал прямо-таки неотразим. Тогда он рассказывал такое множество забавных давних историй, что все за столом корчились от смеха.

Корюшку он, разумеется, мог съесть в одиночку, но по доброте сердечной делился этой редкостью с остальными — г-жа Лагерлёф, мамзель Ловиса, гувернантка и три девчушки

получали по нескольку рыбешек. И все не могли не признать, что просто удивительно: такая маленькая рыбка, а вкусная, пальчики оближешь.

— Ну разве же не вкусно, Ловиса? — говорил поручик, зная, что сестра любит говядину так же, как он рыбу.

И даже она в порядке исключения соглашалась, что пока корюшки не слишком много, то… Сложив салфетку и собираясь встать из-за стола, поручик торжественно произносил:

— Запомните, дети, что я вам скажу: даже наш король в Стокгольмском дворце не ел нынче ужина вкуснее, чем мы, так что нам вправду надобно как следует возблагодарить Господа, а не пренебрегать застольной молитвой.

Вот так проходил первый день сезона корюшки.

Наутро гордшёский рыбак приходил опять, на сей раз с целым фунтом корюшки. Встречали его конечно же радушно, за фунт рыбы платили по двенадцать шиллингов, что считалось высокой ценой. Поручик Лагерлёф самолично выходил с деньгами на кухню, чтобы потолковать с рыбаком, поблагодарить, что он пришел с корюшкой в Морбакку, и просить впредь поступать так же:

— Не ходи с нею, во всяком случае, ни к пастору, ни к фабриканту!

Три девчушки и в этот день чистили рыбу по своей охоте, однако теперь их ждала награда за труды. Корюшки за ужином хватало на всех, даже с избытком, кое-что оставалось поручику на завтрак. Хотя народ на кухне корюшкой не угощался. Слишком большая редкость для них.

На третий день рыбак притаскивал столько корюшки, что она едва умещалась в большущей глиняной миске. Теперь рыбешку подавали к господскому столу и на завтрак, и на ужин, а на кухне ею угощали старосту, но не конюха и не батрака.

В следующие дни приходил народ с каждого из мелких хуторов вокруг Гордшё, предлагал корюшку. Поручик Лагерлёф покупал у всех. Все большие миски, какие только были в кладовке, наполнялись доверху. Хочешь не хочешь, складывай рыбу в большой медный котел. Но его тоже не хватало, и рыбу ссыпали в большой ушат.

Когда в дом поступало такое количество мелкой рыбешки, вычистить ее оказывалось нелегко. Служанки уже не сидели за ткацким поставом и за прялкой, а волей-неволей чистили корюшку. Трех девчушек в классной комнате опять же не видали. Они чистили корюшку, не для забавы, а всерьез помогая взрослым. Г-жа Лагерлёф и мамзель Ловиса тоже откладывали другие дела, пособляли с корюшкой. Но все это было весело и

замечательно. Небольшое разнообразие, которого им как раз недоставало.

Экономка корюшку не чистила, она целыми днями стояла у плиты, жарила рыбу. И скоро начинала сетовать, что-де все масло изведешь с этой корюшкой. День-другой назад бочонок был полнехонек, а теперь уже донышко видать. Первый диссонанс во всеобщем удовлетворении.

За господским столом корюшку ели на завтрак и корюшку на ужин, без перемен. Только на обед подавали пока что обычную вермландскую еду: солонину, или селедочные фрикадельки, или жареную ветчину либо сосиски, или что-нибудь еще.

Но поручику Лагерлёфу это не нравилось. И однажды, когда перед ним ставили говядину, с ноября лежавшую в рассоле, он терял терпение:

— Не пойму, как можно есть солонину, когда в кладовке полно свежей рыбы. Но у порядочных экономок уж так заведено. Домашние едят солонину, а свежее пусть стоит на полках, ждет гостей, пока не испортится.

Это был резкий выпад против сестры, но та воспринимала его спокойно. Она очень любила брата и никогда на него не сердилась. Только мягко отвечала, что никогда не слыхивала, будто корюшку прилично подавать гостям.

— Да уж, мне ли не знать, что ты, Ловиса, чересчур благородная, чтобы есть корюшку, — говорил поручик. — Ты бывала в большом мире, знаешь, как оно полагается. Но я не понимаю, почему мы здесь, в Морбакке, должны оглядываться на Карлстад да на Омоль.

Тут мамзель Лагерлёф наконец догадывалась, отчего брат не в духе.

— Не станешь же ты есть корюшку и на обед! — восклицала она, словно раньше ничего подобного не случалось.

— Разумеется, я хочу вволю поесть корюшки, — отвечал поручик. — Зачем я, по-твоему, каждый день покупаю эту рыбу, коли сам не могу ее есть?

После этого корюшку подавали к хозяйскому столу утром, днем и вечером. Но со стороны поручика было, пожалуй, несколько опрометчиво распоряжаться таким манером, ведь хотя корюшка рыбка вкусная, запах у нее неважнецкий. Я не имею в виду, будто она порченая. Нет, она неприятно пахнет с первой же минуты, как ее вынут из воды. После жарки запах пропадает, однако тот, кто чистит корюшку, поневоле его чует. Мало того, этот запах поистине неистребим. Чем бы ты ни занимался, он с тобой. Все, к чему ни прикоснись, пахнет корюшкой. И, наверно, именно по причине запаха невозможно подолгу есть эту рыбу с

аппетитом, поел разок-другой — и удовольствию конец.

Теперь же, когда почти все домашние только и делали, что чистили корюшку, им быстро стало невмоготу есть ее утром, днем и вечером. Корюшка начала надоедать. День ото дня они брали себе все меньшие порции. И тяжело вздыхали, садясь за стол и не находя там ничего, кроме вечной корюшки.

Однако поручик Лагерлёф пребывал в восторге и продолжал скупать корюшку. Гордшёский рыбак, явившийся первым, держал данное поручику слово и приходил каждый день. А то и по нескольку раз на дню. Правда, вел он себя иначе. Дверную ручку нажимал мягко и на кухню входил со смиренной и смущенной улыбкой. Рыбу на кухонный стол не водружал, оставлял за порогом. Здоровался и снимал шапку, но все равно целых полчаса ждал, пока кто-нибудь его заметит.

Ведь если поначалу служанки и дети были рады вместо издавна привычных дел чистить рыбу, то теперь им это занятие уже до смерти надоело, и они мечтали вернуться к будничной работе. Никто из них даже смотреть на рыбака не хотел.

— Мыслимое ли дело, Ларс сызнова рыбу притащил! — в конце концов говорила экономка таким тоном, будто он явился продавать краденое добро.

Малый только глазами хлопал. Слова не мог вымолвить от конфуза.

— Рыбы у нас столько, что нам нипочем ее не съесть, — продолжала экономка. — Представить себе не могу, чтобы поручик купил еще больше этой разнесчастной корюшки.

Но она знала: что касается корюшки, с поручиком шутки плохи, а потому неизменно шла в комнаты сообщить о приходе рыбака.

Однажды рыбак явился, когда поручик отлучился куда-то по хозяйству, и экономка, пользуясь случаем, не замедлила его выпроводить. Все на кухне возликовали: думали, что нынче чистить рыбу не придется, но не тут-то было — рыбак, как нарочно, повстречал поручика в аллее. И тот купил у него целый ящик корюшки и послал его обратно на кухню.

Так продолжалось неделю-другую. Корюшка до чертиков опротивела всем — кроме поручика. За каждой трапезой он нахваливал корюшку: дескать, вот еда так еда, здоровая да полезная. Достаточно посмотреть на рыбаков из Бохуслена. Каждый день едят рыбу и на всю страну славятся здоровьем и бодростью.

В один из вечеров мамзель Ловиса пробовала испытать поручикову стойкость. Велела экономке напечь оладий со шкварками. Поручик очень любил это блюдо, и не удивительно,

потому что таких вкусных оладий со шкварками, какие пекла старая экономка, нигде больше не отведаешь — сущее объедение! Но затея не удалась.

— Решила, поди, вволю угостить корюшкой старосту и работников, коли подсовываешь мне оладьи. — Поручик даже не притрагивался к миске с румяными, хрустящими оладьями.

— О нет, вовсе не поэтому, — замечала мамзель Ловиса. — И староста, и работники уже по горло сыты корюшкой, так что потчевать их ею более невозможно.

Поручик непременно смеялся, но оладий не брал, приходилось подавать ему корюшку.

К концу второй недели весь дом был близок к восстанию. Экономка сердилась на расход сливочного масла, а прислуга заявляла, что невмоготу им служить в доме, где едят столько корюшки. В итоге поручик уже и сунуться не смел на кухню, где недовольство прямо-таки кипело ключом.

И за столом царила неподобающая атмосфера. Никакого тебе благодушия. Гувернантка к еде не прикасалась, и даже девчушки, обыкновенно горой стоявшие за отца, начинали тихонько роптать.

В конце концов вмешивалась г-жа Лагерлёф. Держала совет с мамзель Ловисой и экономкой, и втроем они уговаривались прибегнуть к старому испытанному средству, которое, как они знали, прекратит это бесчинство.

На следующий день к обеду подавали не жареную корюшку, а отварную.

Надо сказать, отварная корюшка на редкость неаппетитна. С виду белесая, а к тому же совершенно безвкусная. Даже пробовать не нужно, при одном взгляде на нее всякое желание есть пропадает.

Увидав вареную корюшку, поручик Лагерлёф радовался не больше других.

— Масло у нас вышло, — виновато говорила мамзель Ловиса, — а раз уж ты ни за одной трапезой без корюшки обойтись не можешь, мы ее отварили. И как мне кажется, — добавляла она, — на вкус она ничуть не хуже, чем жареная.

Поручик Лагерлёф на это ни слова не говорил, и все понимали, что мамзель Ловиса одержала верх.

Поручик мог ведь сам пойти в кладовку и проверить, вправду ли масло вышло, или в конце концов купить масла, однако не делал ни того ни другого.

После этого обеда корюшку он больше не покупал. Смысла нет, говорил он, раз женщинам лень готовить рыбу, как полагается. И никто ему не возражал, хотя все знали, что он тоже не меньше их рад отказаться от корюшки.

Семнадцатое августа

■

Не очень-то легко объяснить, каким образом семнадцатое августа, день рождения поручика Лагерлёфа, превратилось в такой большой праздник. Впрочем, можно, пожалуй, представить себе, что когда в одном месте собиралось, как в Эстра-Эмтервике, множество талантливых людей, то хотя бы раз в году им необходимо было показать, на что они способны.

Коль скоро в округе имелось три превосходных оратора — инженер Нурен из Херрестада, депутат риксдага Нильс Андерссон из Бевика и торговец Теодор Нильссон из Вистеберга, из которых первый придерживался патетического стиля, второй серьезного, а третий поэтического, — то, пожалуй, было бы весьма жаль, если бы они выступали с речами лишь на небольших праздниках и приходских собраниях.

А взять этакого стихотворца, как звонарь Меланоз! Изо дня в день он слышал, как малыши читали по складам, запинались, продираясь сквозь лабиринты родного языка. Наверно, ему бы не помешало хоть раз в году дать этому исковерканному языку шанс прозвучать высокой праздничной одой.

И коли в приходе был квартет замечательных певцов — Густав и Ян Аскеры из старинного музыкантского рода да двое братьев, Альфред и Таге Шульстрёмы, которые держали возле церкви торговую лавку! Конечно, народ всегда и всюду с благодарностью слушал их голоса, но для них самих было благотворным стимулом петь по случаю какого-либо большого торжества, где они имели взыскательную и критичную публику.

Ну и сам старик Аскер, обычно игравший на крестьянских свадьбах, где никого не заботит, что за звуки издает кларнет, был бы только ритм да задор, — сам старик Аскер поистине был счастлив, когда семнадцатого августа приходил в Морбакку, ведь тамошняя молодежь понимала, чего стоит его искусство, и говорила, что во всем свете не найдется музыки, под какую так легко танцевать, как под его.

А раз уж имелся духовой секстет — гордшёский управляющий, да Таге Шульстрём, да капрал Юхан Дальгрен, да приказчик из лавки, да двое музыкальных учителей из начальной школы, которые приобрели себе инструменты и ноты и не поленились разучить марши, вальсы, увертюры и целую подборку народных песен, — то разве же хорошо, коли не будет у них хоть одного-единственного праздничного дня, когда их старания будут

вознаграждены триумфом.

И если вдобавок среди родственников, приезжавших летом в Морбакку, были двое таких забавников, как аудитор, сиречь военный юрист, Уриэль Афзелиус, женатый на сестре г-жи Лагерлёф, и ее брат Кристофер Вальрот, — тем более замечательно, что далеко в сельской глуши отмечался праздник, да такой роскошный, что им было лестно на нем выступить.

А если среди гостей находилась к тому же самая настоящая примадонна, сиречь г-жа Хедда Хедберг, красивая и веселая стокгольмская уроженка — певица и актриса, воистину созданная для театра, хоть и вышла за бедного вермландского поручика, то поневоле скажешь, что праздновать в Морбакке семнадцатое августа было очень даже важно и нужно, поскольку по этому случаю и она, и все остальные могли продемонстрировать свои таланты.

■

Первые несколько лет, когда поручик Лагерлёф поселился в Морбакке, семнадцатое августа отмечали как обычный день рождения, с цветами на кофейном столе и гирляндой из листьев вокруг поручиковой чашки. Ближайшие соседи заходили его поздравить, и принимали их обычным образом — угощали кофе, соком, пуншем и тодди, а в девять садились ужинать. Развлекались обычными разговорами, а после ужина из залы выносили стол и устраивали танцы.

Однако по округе не иначе как разнеслась молва, что на этих деньрожденных вечеринках в Морбакке очень уютно и весело, а поскольку никогда и речи не заходило о рассылке приглашений и желанным гостем был каждый, то постепенно стало собираться все больше и больше народу.

Семьи тоже росли, и как только детишки начинали кое-как ходить, их брали с собой в Морбакку чествовать поручика Лагерлёфа. А нередко случалось, что те из соседей, которые с самого начала участвовали в этом празднике, приезжали вместе с собственными гостями.

Одинокие молодые господа, которые в те времена готовы были проехать несколько миль, лишь бы немножко потанцевать, взяли в привычку семнадцатого августа поздравлять поручика Лагерлёфа, а родственники из дальних краев, что летом обыкновенно гостили в Морбакке, стали приурочивать свои визиты к его дню рождения. Поскольку же при жизни поручика Лагерлёфа семнадцатого августа неизменно стояла прекрасная погода, гости обычно проводили время на воздухе, гуляли,

осматривая поручиковы постройки и сад. Если собиралось много молодежи, танцы начинались еще до ужина. Всем было весело и хорошо, хотя и не лучше, чем в других местах.

Но вот по какой-то причине в Эстра-Эмтервике поселился поручик Адольф Хедберг со своей молодой и красивой женой. И когда поручик Лагерлёф праздновал очередной день рождения, в разгар вечера на кухню заявилась старая крестьянка с лукошком яиц на продажу. Ее незамедлительно выпроводили, потому что в праздничной суете всем было недосуг покупать яйца, но она не растерялась, подхватила свое лукошко и вышла на веранду, где сидел поручик в окружении толпы господ. Ничуть не смущаясь общества, крестьянка бойко завела разговор, назойливо твердила, что он должен купить яйца, иначе она не уйдет. Но когда получила деньги и спрятала их в карман юбки, все равно не ушла, принялась допытываться, кто такие остальные господа, и высказывалась об их наружности, пожалуй, излишне беззастенчиво. В конце концов молодой поручик Хедберг, тоже при сем присутствовавший, решил, что шутка зашла далековато, и раскрыл секрет:

— Довольно, Хедда, пора это прекратить.

Крестьянка подбежала к нему, влепила пощечину, правда несильную, и воскликнула:

— Ах, Адольф, ну как можно быть таким гадким и выдать, что это я!

В самом деле жаль, ведь она так превосходно замаскировалась и говорила на вермландском диалекте так безупречно — никому даже в голову не пришло, что перед ним очаровательная стокгольмская дама.

Однако этот маленький розыгрыш подтолкнул других затейников, и немного погодя Кристофер Вальрот запел песенки Эрика Бёга.[21] Голос у него был не ахти какой большой, но сколько же артистизма он вкладывал в исполнение — все слушатели просто корчились от смеха. А под самый конец аудитор Афзелиус, повязав голову шелковым платочком и накинув на плечи мантилью, продекламировал и спел “Трепетную Эмелию”. И, разумеется, то был коронный номер вечера, потому что аудитор великолепно изобразил чувствительную молодую девицу.

Пока все это происходило, звонарь Меланоз явно сидел и досадовал, что одни только городские и сумели как следует повеселить поручика и его гостей. Наверно, это задело его за живое.

И на следующий год он взял реванш. Надо вам сказать, поручик подарил эстанбюской школе целую кучу сделанных в

Морбакке игрушечных ружей, чтобы ребятишки осваивали военное дело. Даже послал в школу старика-сержанта обучать их ружейным артикулам. Вот звонарь и придумал походным маршем явиться в Морбакку со всеми ребятишками на день рождения поручика.

Во главе колонны они несли флаг, барабанщик бил в барабан, а на плече у каждого было ружье. Казалось, по аллее шагало целое войско. Столько детей — колонна растянулась от людской до самой веранды, возле которой звонарь, возглавлявший шествие, отдал приказ остановиться.

Сперва он коротко сказал, что дети пришли поблагодарить поручика Лагерлёфа, который подумал о том, что их тела нуждаются в воспитании точно так же, как и души. Затем по его команде ребятишки продемонстрировали, как умеют ходить строем, поворачивать направо и налево, смыкать ряды и делать “на караул”.

Да, звонарь придумал замечательный сюрприз. Поручик пришел в восторг, и гости получили удовольствие.

Каково было старой экономке, мамзель Ловисе и г-же Лагерлёф, когда в разгар большого праздника им пришлось угощать кофе с булочками шесть десятков ребятишек, тоже можно себе представить. С тех пор они каждое семнадцатое августа с ужасом вспоминали ребячье шествие и надеялись, что звонарь не явится еще раз с этакой ордой.

В тот самый день, когда звонарь организовал ребячий поход, инженер Нурен с женою тоже пришли к мысли, что никак нельзя, чтобы развлечения семнадцатого августа устраивали одни только приезжие. Поздно вечером, когда все вокруг озарилось лунным светом, инженер облачился в короткий плащ черного бархата и берет с плюмажем, а г-жа Эмелия — в старинное платье с пышными буфами на рукавах. И на песчаной дорожке возле веранды они разыграли несколько сцен из “Эрика XIV” Бёрьессона.[22] Никто и представить себе не мог такой красоты, как это выступление при лунном свете, потому что Эрик Нурен настолько вошел в роль короля Эрика, что казалось, каждое слово рождалось в собственном его сердце, а жена его была прелестна, скромна и слегка испуганна, точь-в-точь как полагается Карин дочери Монса.

Годом позже народу в Морбакке семнадцатого августа собралось больше, чем когда-либо. Коляски, брички и прочие повозки подкатывали одна за другой. Человек семьдесят, а то и восемьдесят подъехали за короткое время. Ясное дело, во все концы разлетелась весть, что в этот день в Морбакке всегда такое веселье, какого нигде в других местах не увидишь.

Однако на сей раз поручик Лагерлёф находился в некотором замешательстве, так как не мог предложить гостям ничего достопримечательного. На сей раз праздник в Морбакке был совершенно обыкновенный. Ближе к вечеру молодежь устроила танцы, господа сидели за беседой, потягивая тодди, дамы постарше расположились в гостиной, угощались ягодами и конфетами. Никто не скучал, потому что аудитор Афзелиус и пробст Хаммаргрен, с одной стороны, и г-жа Хедда Хедберг и г-жа Нана Хаммаргрен, с другой, превосходно владели искусством развлекать общество. Но никаких выступлений, похоже, не ожидалось. Даже обычной поздравительной речи никто не произнес.

Поручик поглядывал по сторонам. И нигде не видел ни загадочных выражений лица, ни деятельных приготовлений.

Когда стало смеркаться, в Морбакку пешком пришли десятки людей со всей округи. Столпились темной массой на широкой песчаной дорожке перед жилым домом, ждали. Поручик сочувствовал им: жаль, такую дорогу проделали, а посмотреть не на что.

Впрочем, после ужина он таки заметил, что по всей честной компании вроде бы пробежало легкое напряженное волнение.

К нему подошли с креслом, разубранным цветами, попросили сесть. А едва он уселся, сильные руки подхватили кресло и понесли. Ян Аскер заиграл марш, господа предложили дамам руку, и длинная процессия направилась в ночную тьму. Правда, впотьмах шли недолго. Путь лежал в сад, и, обогнув угол жилого дома, они тотчас увидели, что впереди все залито светом цветных фонариков.

Поручика пронесли по освещенным дорожкам до маленького парка. Впервые в Морбакке попробовали устроить такую иллюминацию, и поручик искренне удивился, до чего же красиво выглядит сад. Неужели это то самое место, которое они со старым садовником размечали всего несколько лет назад?

Со всех сторон долетали восхищенные возгласы. Какие темные и таинственные кусты, какие загадочные и бесконечно длинные дорожки под сводами листвы! Как играют красками цветы в переменчивом свете фонариков, а листва на деревьях — словно драгоценные многоцветные драпировки!

Процессия остановилась в парке на одной из вырубок. Кресло поручика опустили наземь, и его завороженные глаза узрели воздвигнутый из цветов и листьев грот, где на пьедестале, в окружении стайки маленьких нимф, стояла Флора и дивно звучным голосом пела гимн во славу создателя сада.

— О, мне бы следовало догадаться, Хедда, — крикнул

поручик прелестной богине цветов, — мне бы следовало догадаться, что ты про меня не забудешь!

■

На дворе семнадцатое августа, около четырех часов дня, младшие морбаккские девочки, Сельма и Герда, наряжаются к празднику, когда горничная вбегает к ним в комнатку на конторском чердаке, так как свою собственную они конечно же уступили приезжей родне.

— Надобно вам спуститься вниз, Сельма и Герда, — громко говорит горничная, — встречать гостей. Остальные еще не готовы, а первые экипажи уже в аллее.

Что ж, девчушкам вправду приходится поспешить, но одновременно обеих пронзает счастливая дрожь. Подумать только, начинается, семнадцатое августа начинается!

Они застегивают платья, завязывают бантом шейные косынки и бегут вниз. Никого из взрослых не видно. Даже старшая сестра не поможет им встречать гостей, у нее генеральная репетиция к вечернему спектаклю.

Гости уже сидят на веранде. Г-н Нильссон из Вистеберга с женой и тремя-четырьмя детьми. Они всегда и везде появляются раньше времени, а уж семнадцатого августа вообще торопятся изо всех сил. И девчушек это ничуть не удивляет. Ведь всем наверняка не терпится попасть в Морбакку в такой день.

Пожалуй, и гости, и маленькие хозяйки успевают слегка заскучать, прежде чем подъедут новые экипажи и начнут подходить домашние. Однако нынче семнадцатое, нынче на подобные пустяки внимания не обращают.

Следующими подъезжают гости издалека: пастор Альфред Унгер из Вестра-Эмтервика с семейством. В экипаже, запряженном парой лошадей, а проехали они больше двух миль. Экипаж полон женщин и ребятишек, сам же пастор Унгер, сидя на козлах, правит упряжкой, ведь он подлинный знаток лошадей.

Поручик Лагерлёф наконец-то готов, выходит на веранду, аккурат когда пастор Унгер заворачивает во двор.

— Черт побери, Альфред! — восклицает поручик. — Что ты сделал со своими лошадьми? Ведь не различить, одна к одной!

— Ты лучше помалкивай, не выдавай секреты в собственный день рождения! — отвечает пастор Унгер.

Дело в том, что его красивые упряжные лошади очень похожи друг на друга, только у одной на лбу белая звездочка. Вот пастор и придумал проплести несколько кусочков белой кожи между ремешками, что скрещиваются у лошадей на лбу, — пускай все

думают, будто лошади и впрямь похожи как две капли воды.

Никто бы и не заподозрил уловки, но пастор Унгер так ею гордился, что рассказывал о ней всем встречным и поперечным, вот молва и до поручика дошла.

Кстати, из пасторской усадьбы в Вестра-Эмтервике приезжает не один экипаж. Следом подкатывает телега с молодежью. Это карлстадская родня, которой случилось гостить у пастора именно об эту пору, когда заодно можно и в Морбакку нагрянуть.

Экипаж за экипажем заезжают во двор. Вот и хозяева Гордшё, самые дорогие гости. Эти подкатывают целой вереницей повозок. Во-первых, их самих много, а во-вторых, с ними Уриэль и Георгина Афзелиус да Кристофер Вальрот и его младшая сестра Юлия, которые живут у них.

В одной из гордшёских повозок виднеются несколько больших, странного вида белых узлов, которые относят наверх, в театр. Сельма с Гердой сгорают от любопытства. Спрашивают девочек Вальрот, что там такое, но те дали слово молчать и не смеют проговориться. Только намекают, что дядюшка Уриэль придумал кое-что жутко уморительное.

Затем подъезжает старый инженер Иван Варберг из Ангерсбю, в коляске, где полным-полно очаровательных девушек.

На веранде огромное ликование. Хорош чопорный холостяк, Иван-то Варберг! Что это с ним приключилось?

Все, конечно, прекрасно знают, что девушки — его племянницы, которые летом гостят у дядюшки, но ведь надо же чуток вогнать Ивана в краску.

Девчушки Лагерлёф говорят друг дружке: странно, мол, что не видать г-жи Хедды. Она, правда, уже не живет в Эмтервике, но они все равно надеялись, что она приедет и устроит что-нибудь забавное. Без нее и семнадцатое августа словно бы не такое, как должно.

Но вот появляются и ближайшие соседи. Пастор Милен и его мальчики перебрались в другой приход. Нынче из пасторской усадьбы не спеша идут высокий красивый пастор Линдегрен и его милая маленькая жена. Из другой соседней усадьбы, из Нижней Морбакки, подходят папаша Улов и мамаша Черстин.

Разумеется, они не единственные крестьяне, желающие поздравить поручика. Дядюшка Ион Ларссон из Сёдра-Оса, самый богатый человек в приходе, тоже здесь, со своей дочкой. И бевикский депутат с женой, и церковный староста из Вестмюра, опять-таки с женой.

Поскольку приглашений не рассылали, девчушкам весьма интересно стоять на веранде подле поручика и смотреть, кто подходит-подъезжает. С особенным нетерпением они ждут

старого Яна Аскера. Только бы он не обиделся на что-нибудь, ведь тогда не приедет!

Они пробуют пересчитать гостей, но безуспешно. Народ валом валит со всех сторон. Может, целая сотня наберется? Им ужасно этого хочется, звучит-то как замечательно, если кто скажет, что семнадцатого августа в Морбакке собралась сотня гостей.

Однако встреча — всего-навсего прелюдия к тому, что будет дальше. Как и кофепитие на дворовой лужайке. Поскорей бы уж с этим покончили, нетерпеливо думают дети.

Наконец праздник начинается. Секстет медных духовых выстраивается у лестницы, с блестящими инструментами в руках. Кавалеры предлагают дамам руку, звучит марш, и следом за музыкантами гости парами направляются через сад к маленькому парку.

Собираются вокруг стола, уставленного великим множеством стаканов с бишофом[23] и пуншем, потому что просто вино в Морбакке не подавали никогда, и стаканы раздают всем присутствующим. Вот теперь каждому ясно: настало время деньрожденной речи и здравиц в честь поручика Лагерлёфа.

Инженер Эрик Нурен, депутат риксдага Нильс Андерссон из Бевика и г-н Нильссон из Вистеберга стоят с приготовленными речами. В раздумье нерешительно смотрят друг на друга. Ни один не хочет вылезать вперед, перехватывая слово у соперника.

— Ну что же, ничего не будет? — говорит поручик. Он не любитель торжественных речей и предпочел бы поскорее покончить с этой частью программы.

Тут прямо у него за спиной слышится ясный голос со звенящим стокгольмским акцентом, а когда он оборачивается, из кустов выходит красавица-цыганка, предлагает ему погадать. Берет его левую руку в свои и начинает читать линии на ладони.

Минувшей зимой поручик Лагерлёф тяжело хворал и, чтобы восстановить здоровье, предпринял нынешним летом новую поездку в Стрёмстад. И цыганка читает по его руке все подвиги, какие он совершил в этой поездке, более того, повествует о них звучными стихами.

Забавно, а вместе с тем немножко нахально и ехидно — народ хохочет, но поручик в восторге.

— Все ж таки ты, Хедда, у нас номер один, — говорит он.

Провозгласив здравицу в честь поручика и крикнув “ура!” под фанфары секстета, г-жа Хедда быстро бросает взгляд на трех эстра-эмтервикских ораторов:

— Прошу прощения, что помешала! Теперь черед здешних почитателей.

— Здешние уже потерпели полное поражение, госпожа Хедберг, — говорит инженер Нурен.

В этот миг далеко в саду слышится кларнет старого Яна Аскера. А меж деревьями мелькают блестящие шлемы и доспехи.

Оказывается, Ян Аскер и звонарь Меланоз повстречали по дороге трех бессмертных асов — Фрейю, Одина и Тора, которые направлялись в Морбакку, но заплутали. Они помогли бессмертным, сияющие божества вот-вот пожалуют и сами изложат свое дело.

Нет, никакое не дело. Три божества поют на известный мотив “Приди, прекрасный май”, слагают песнь обо всем, что построено и свершено в Морбакке при поручике Лагерлёфе. Каждое слово — чистая правда, и у многих на глаза невольно набегают слезы. Сам поручик растроган стихами старого друга.

— С Меланозом нынче никто не сравнится, — говорит он. — Знаешь, Хедда, мне и впрямь сдается, что нынче заправляют здешние.

Так удачно и торжественно начинается праздник. Затем гости расходятся по саду, заглядывают в заросли ягодных кустов и испанских вишен, кое-кто даже не прочь отведать яблоки доброго астраханского сорта: вдруг в Морбакке они уже поспели?

Но немного погодя вновь слышны фанфары. Господа вновь предлагают дамам руку и ведут их из сада в дом, а там вверх по крутой чердачной лестнице.

На чердаке перед небольшою сценой с белым занавесом устроен зрительный зал. Весь театр — творение г-жи Лагерлёф, и выглядит он как нельзя более очаровательно.

Недолгое ожидание, занавес поднимается — играют аллегорический водевиль, нынче же утром сочиненный Уриэлем Афзелиусом и озаглавленный “Монах и танцовщица”.

Действие происходит в тот день, когда родился поручик Лагерлёф, — семнадцатого августа 1819 года. У колыбели новорождённого являются не обычные феи, а две символические фигуры — монах и танцовщица. Танцовщица хочет сделать из мальчугана веселого и жизнерадостного кавалера, монах же — человека аскетичного и серьезного. После оживленной перепалки они договариваются, что каждый распорядится своей половиною жизненной стези морбаккского младенца. Иными словами, несколько времени он будет вести веселую жизнь молодого офицера, а затем, в позднейшей половине жизни, остепенится, поселится в своем монастыре, сиречь в Морбакке, и станет жить в трезвости, делая добрые дела.

Великолепно, великолепно. Уриэль Афзелиус в роли монаха и Кристофер Вальрот в роли танцовщицы, весь в покрывалах и

вуалях, поют арии и дуэты на мелодии из самых популярных опер, жестикулируют с торжественным пафосом и произносят монологи, а в конце концов завершают спор веселым па-де-де.

Когда занавес опускается, аплодисментам нет конца. Все кричат, топают ногами, машут руками. Г-жа Лагерлёф опасается, что чердачный пол не выдержит этакой бури восторга, а поручик зычным голосом восклицает:

— Ай-яй, Меланоз, опять приезжие взяли верх!

Морбаккская молодежь разучила небольшую пьеску, из-за нее-то и соорудили театр. Однако теперь, когда пришла пора начинать, они приуныли. Им ли тягаться с аллегорией дядюшки Уриэля.

Анне Лагерлёф сравнялось четырнадцать, и впервые она выступит в настоящей театральной роли. Пьеска называется “Сигара”, и Анна играет молодую жену.

Спектакль отнюдь не проваливается, и это заслуга юной Анны Лагерлёф. Откуда у девочки столько смелости и таланта? Она играет так мило и так уверенно, что зрители не перестают удивляться.

— Эта девочка будет сущей сердцеедкой, — говорят одни.

— Ах, какая красоточка, — говорят другие. — А играет-то как замечательно!

Аплодисментам и вызовам нет конца.

— Вот видишь, поручик, — сквозь шум кричит звонарь Меланоз, — здешние не сдаются!

Наконец все спускаются вниз, начинаются танцы и разговоры, гости пьют тодди, рассказывают истории — до сих пор на это не было времени.

Ужин подают ближе к полуночи, а потом зажигают разноцветные фонарики. Без иллюминации никак нельзя. Таков ежегодный ритуал.

Нынешней ночью иллюминацию для разнообразия устраивают во дворе.

Ах, до чего красиво, глаз не отвесть — цветочные купы мамзель Ловисы купаются в многокрасочном свете, плакучий ясень весь словно пронизан пламенем, темные кусты сплошь будто в огненных цветах!

Все выходят любоваться иллюминацией. И замирают как завороженные. Откуда взялась этакая красота? Здесь ведь прямо как в сказочной стране.

Квартет немедля заводит песню. Звуки музыки еще сгущают настроение.

И происходит кое-что странное. Будто нежный прохладный ветерок шелестит в листве. Вообще-то никто не ведает, что это, но

люди, которые собрались здесь и без малого десять часов беседовали, танцевали, смотрели спектакли, слушали песни и речи, — люди сейчас как бы вполне к этому готовы. Среди ночной красоты, внимая песне, они чувствуют приятное головокружение, мягкую растроганность. Как прекрасна жизнь, как бесценны ее мгновения, сколько услады в каждом вздохе!

Все, что поют певцы, каждое слово, каждая нота находит отклик. Больше того, люди понимают, что испытывают одинаковые чувства. Всех объединяет огромное счастье.

У г-жи Хедды Хедберг возникает идея. Стоя на верхней ступеньке веранды, она запевает “Вермландскую песнь”.

Все подтягивают. Изливают в звуках свои чувства. “Ах, Вермланд, прекрасный, чудесный мой край!”

И мнится, будто в кустах и зарослях тоже поют. Мнится, будто под сенью больших кленов морбаккские гномы танцуют контрданс под эту прелестную мелодию.

Все пожимают друг другу руки. Глаза у всех увлажнились. И никого это не удивляет. Несказанное счастье — жить, поневоле наворачиваются слезы.

Когда песня смолкает, место г-жи Хедды на верхней ступеньке занимает инженер Нурен. Ему тоже хочется изъяснить настрой этой минуты.

— Вот это и есть семнадцатое августа, — говорит он. — Не песня, не спектакли, не танцы, не людская суета, а то, что мы чувствуем сейчас, — тихое, торжественное счастье, охватившее наши сердца, взаимная любовь, которой дышит эта ночь.

Об этом мы мечтали, к этому стремились, едучи сюда. За этим вернемся и на будущий год.

Дорогой брат Эрик Густав, как же получается, что нам надобно приехать к тебе, чтобы ощутить примирение с судьбою, испытать гордость за нашу страну и порадоваться, что все мы существуем? Человек ты вовсе не великий и не выдающийся. Не совершал грандиозных деяний. Но ты обладаешь великой благожелательностью и всех встречаешь с распростертыми объятиями. Мы знаем, если б мог, ты бы заключил в объятия и нас, и весь мир.

Вот почему тебе из года в год удается на несколько часов подарить нам толику блаженства, толику рая, толику того, что мы у себя в Эстра-Эмтервике называем семнадцатым августа.

Послесловие

Семнадцатое августа 1919 года.

Я заказала самый красивый венок, какой только могли сплести в Морбакке, села в пролетку и, положив его перед собою, поехала в церковь. Оделась я по-праздничному, экипаж блестел свежей краской, лошади в нарядной сбруе.

День стоял чудесный, лучше не бывает. Земля купалась в солнечном свете, воздух дышал теплом, по небу плыли прелестные белые облачка. Тихо, ни ветерка. Было воскресенье, и я видела, как во дворах играют нарядные дети, а нарядные взрослые собираются в церковь. Ни коровы, ни овцы, ни куры не перебегали дорогу, когда пролетка катила через поселок Ос, не то что в будни.

Год выдался урожайный, словно мы вернулись в доброе старое время. Все сенные сараи, мимо которых я проезжала, набиты битком, так что двери и ставни не закрыть. Все ржаные поля сплошь покрыты бабками снопов, все яблони перед осскими домами усыпаны зреющими яблоками, а засеянные под зиму паровые поля уже зазеленели свежими всходами.

Я сидела и думала, что поручика Лагерлёфа, которому нынче исполнилось бы сто лет, все это очень бы порадовало. Благоденствие, не в пример 1918-му, и 1917-му, и 1915-му, и 1914-му, и 1911-му, страшным годам, когда свирепствовала засуха. Сейчас он бы порадовался, кивнул бы сам себе головой и сказал, что, по крайней мере, в Вермланде не сыскать другого места, где все растет так, как в здешнем приходе.

По дороге в церковь я все время думала о нем. По этой дороге через Ос он ездил не счесть сколько раз, и я могла представить себе, с каким интересом он бы примечал перемены. Каждый заново покрашенный дом, каждое прорубленное окно, каждую кровлю, крытую черепицей, он бы заметил и оценил. Усадьбе Верхний Ос он бы порадовался, потому что она совершенно такая же, как раньше. Но увидев, что старый жилой дом Яна Ларссона, в его время лучший в поселке, теперь снесли, наверняка бы искренне расстроился, воспринял это как подлинную утрату.

Он никогда не был противником перемен и улучшений, хотя кое-что из стародавнего нипочем бы трогать не стал. Определенно сказал бы, что лишь у нас, бедолаг, нынче сохранились такие же покосившиеся изгороди, как при нем. Но что придорожные канавы заросли, а мосты обветшали и полны опасных дыр и что навозные кучи по-прежнему виднеются у дороги — этого он бы не одобрил.

У перекрестка, где кончалась поселковая улица и начинался большой тракт, было бы наверняка приятно обратить его внимание на курортную гостиницу, расположившуюся в холмах, и рассказать, что в Ос-Брунн теперь каждое лето съезжаются сотни отдыхающих. Он бы порадовался, что давний его замысел касательно большого курортного заведения вовсе не был бесплодным прожектом.

Мне бы очень хотелось, чтобы он сидел рядом в экипаже, когда я ехала по мосту через Эмтан. Приятно было бы показать ему, что за последние годы русло речки наконец-то углубили и спрямили. Теперь она уже не сможет после каждого ливня выходить из берегов и превращать в озеро все дно долины от Морбакки до моста.

Проезжая мимо эстанбюской школы, я прямо воочию видела его на школьном дворе, счастливого и довольного, как всегда, когда вокруг него толпой собирались ребятишки, а он горстями бросал этой мелюзге медные монетки.

Сколько раз я слышала от него, что народное образование — сущая беда и приведет нас к разорению, и все же он ездил в эстанбюскую школу по всем экзаменационным дням и часами сидел там, пока его добрый друг звонарь Меланоз опрашивал детей по катехизису и истории, демонстрировал, как они наторели в арифметике и письме. Вряд ли кто-нибудь еще в школьном зале так радовался всем удачным ответам, всем отличным табелям и наградам. Помню, раньше меня это очень удивляло. Теперь же я понимаю, что, едва только дело касалось детей, все принципы предавались забвению.

Я очень хорошо помню, как мы, бывало, выезжали на площадь перед церковью — народ, радостно здороваясь, поспешно расступался перед экипажем, а поручик Лагерлёф улыбался и без устали подносил руку к полям шляпы. Сейчас, когда я ехала по той же площади, мне казалось, что вокруг безлюдно и одиноко. В одиночестве я сидела в экипаже, и среди тех, что пришли в церковь, лишь одна я помнила, что нынче столетний день рождения моего отца.

Я вылезла из экипажа и прошла на кладбище — положить венок на его могилу. И мое скорбящее сердце плакало о том, что все они спят здесь вечным сном, все те, кого я любила. Отец и мать, бабушка, тетя и старая экономка — все они были со мною, а теперь лежат здесь в земле.

Я тосковала по ним, мне так хотелось, чтобы они вернулись и снова жили в Морбакке, построенной их трудом.

Но они спали в земле, тихие, безмолвные, недоступные. И наверно, не слышали меня.

А может быть, и слышали. Может быть, воспоминания, кружившие вокруг меня в последние годы, были посланы ими. Не знаю, однако мне нравится думать так.

notes

Примечания

1

Локоть — старинная мера длины, около 0,6 м.

2

Шведская миля равна 10 км.

З

Пробст — старший священник.

4

Бельман Карл Микаэль (1740–1795) — знаменитый шведский поэт и музыкант; аф Леопольд Карл Густав (1756–1829) — шведский поэт и критик.

5

Фрюкселль Андерс (1795–1881) — известный шведский историк, пробст в Сунне, член Шведской академии.

6

Ленсман — государственный чиновник в сельской местности, наделенный полицейскими и административными полномочиями.

7

Имеется в виду поход шведского вооруженного корпуса (4 500 человек) для обороны датских островов, состоявшийся согласно военной конвенции с Данией в 1848 г., после вторжения прусских войск в Ютландию.

8

Прозвище “Ваккерфельдт” (от шведского vacker — красивый) созвучно его фамилии — Вакенфельдт.

9

Прециоза — героиня одноименной оперы немецкого композитора Карла Марии фон Вебера (1786–1826), впервые поставленной в 1821 г.

10

Хёгквист Эмилия (1812–1846) — шведская актриса, славившаяся своей красотой и актерским талантом.

11

Линд Дженни (1820–1887) — знаменитая шведская певица (сопрано).

12

“Сага о Фритьофе” — поэма (1825) шведского поэта, епископа Эсайаса Тегнера (1782–1846).

13

Тодди — напиток, приготовляемый из теплой воды, сахару и одного из следующих спиртных напитков: рома, коньяка, арака, виски или джина.

14

Финляндия отошла к России в 1809 г.

15

Вильгельм фон Браун (1813–1860) — шведский военный, автор эротических и сатирических стихов, в свое время весьма популярный.

16

Речь идет о заглавных героинях оперы “Норма” (1831) Винченцо Беллини и “Дочь полка” (1840) Гаэтано Доницетти.

17

Имеется в виду Жанна д'Арк, героиня трагедии Фридриха Шиллера “Орлеанская дева” (1801).

18

Рунеберг Иохан Людвиг (1804–1877) — финский поэт, писавший на шведском языке.

19

Туннланд — старинная шведская мера площади, равная 4936 м^2.

20

Шеффель — старинная мера сыпучих тел, 1/16 тонны.

21

Бёг Эрик Николай (1822–1899) — датский поэт-песенник, писатель и журналист.

22

Бёрьессон Юхан (1790–1866) — шведский поэт.

23

Бишоф — красное вино с пряностями.